

Л. Н.
АНДРЕЕВ

Избранное



Леонид Николаевич Андреев

Профессор Сторицын

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=158193

Аннотация

«Профессор Сторицын – худощавый, высокого роста, ширококостный человек лет сорока пяти. Держится очень прямо, ходит неслышно и быстро, жесты широки и свободны; и только в минуты большой усталости и нездоровья слегка сутулится. Седины не заметно: ни в темных, тонких, слегка разметанных волосах, ни в короткой, подстриженной бороде. Красивым лицом и формой головы профессор напоминает несколько Т. Карлейля; под скулами темнеют впадины. Обычное одеяние – свободно сидящий, широкий сюртук, отложной, не закрывающий шеи, крахмальный воротник. Внешний вид Сторицына скорее суровый, чем мягкий, и только в разговоре и поступках выявляется его истинный характер...»

Содержание

Действующие лица	4
Действие первое	5
Действие второе	35
Действие третье	62
Действие четвертое	90

Леонид Андреев

Профессор Сторицын

Драма в четырех действиях

Действующие лица

Сторицын Валентин Николаевич, профессор.

Елена Петровна, его жена.

Володя, Сергей, дети

Модест Петрович, брат Елены Петровны.

Телемахов Прокопий Евсеевич, профессор.

Саввич Гавриил Гаврилович.

Княжна Людмила Павловна.

Мамыкин.

Дуняша, горничная Сторицыных.

Фекла, кухарка Модеста Петровича.

Геннадий, денщик.

Действие первое

Профессор Сторицын – худощавый, высокого роста, ширококостный человек лет сорока пяти. Держится очень прямо, ходит неслышно и быстро, жесты широки и свободны; и только в минуты большой усталости и нездоровья слегка сутулится. Седины не заметно: ни в темных, тонких, слегка разметанных волосах, ни в короткой, подстриженной бороде. Красивым лицом и формой головы профессор напоминает несколько Т. Карлейля; под скулами темнеют впадины. Обычное одеяние – свободно сидящий, широкий сюртук, отложной, не закрывающий шеи, крахмальный воротник. Внешний вид Сторицына скорее суровый, чем мягкий, и только в разговоре и поступках выявляется его истинный характер.

Осенний вечер, часов около семи. Окна на улицу завешены тяжелыми суконными партерами, и воздух в профессорском кабинете тяжел, глух и неподвижен, как в пещере. Везде книги: как бы вышла из своих берегов библиотека и заливает комнату сверху; на столах рукописи и гранки. Видны мучительные усилия привести в систему книжный и бумажный хаос, но порядку мало: книжные шкапы без ключей, не на

месте валяются вчерашние газеты. Пол затянут темным сукном; на стенах портреты писателей в черных рамах и несколько картин – подарков знакомых художников. На большом письменном столе рабочая лампа с непроницаемым абажуром; тут же на металлическом подносе начатая бутылка красного вина с двумя стаканами. В высоком стеклянном бокальчике одинокая роза. В стороне на столике, возле дивана, горит лампочка со штепселем, зеленый колпачок снят, чтобы виднее было; хозяин, профессор Сторицын, не совсем здоров, и его внимательно выслушивает и выстукивает Прокопий Евсеевич Телемахов, друг и товарищ Сторицына еще по гимназии, теперь профессор военно-медицинской академии. Телемахов в военном, докторском сюртуке с генеральскими погонами; седоват, сух, лицо морщиисто и желто, речь и жесты отрывочны и скупы. На тонком сухом носу пенсне, которым Телемахов пользуется только при писании рецептов и занятиях, обычно же смотрит поверх стекол, наклоняя голову и морща лоб. Ростом немного ниже Сторицына.

В углу в кресле притаился Модест Петрович, не дышит, боится помешать осмотру, с беспокойством следит за неторопливыми, серьезными движениями Телемахова.

Вот Телемахов приподнял рубашку у больного и приложился ухом к широкой, вздрагивающей от холода спине.

Телемахов. Вздохни.

Сторицын. Так? *(Вздыхает протяжно.)*

Телемахов. Довольно. Так. Нагнись. Вздохни еще. Так. А теперь положи правую руку на голову.

Сторицын. Я не понимаю, как?.. Так, что ли?.. Ну, довольно?

Телемахов *(выстукивает).* Погоди. *(Снова внимательно слушает.)*

Сторицын *(рассматривая себя).* Экое дрянное тело, кожа бледная, зябкая, неживая. Плохое тело, Телемаша?

Телемахов. Профессорское. Повернись-ка.

Сторицын. Да ты уж стучал... извини, извини, не буду. А ведь я, в сущности, здоров, как лошадь, мне бы на дороге камни ворочать или в цирке «Модерн» борцом. Если бы не сердце...

Телемахов. Молчи, не мешай.

Сторицын. Молчу, Модест, если тебе не трудно, дай дружок, со стола папиросу.

Модест Петрович. Сейчас, Валентин Николаевич, с удовольствием.

Телемахов. А подождать не можешь?

Сторицын. Если уж нужно, то могу, а вообще... Не

велят, Модест, спасибо, голубчик. Кончено?

Телемахов. Да. Кури уж, курилка.

Сторицын. И одеваться можно?

Телемахов. Можно и одеваться. Модест Петрович, помогите ему.

Сторицын. Чего там, не надо, да не надо же, голубчик, я сам. *(Отвернувшись от Телемахова, одевается.)* Ну как, Телемаша, – поживу еще?

Телемахов *(наливая вино)*. Поживешь.

Сторицын. Ты правду говоришь?

Телемахов. А то что же? На велосипеде ездить нельзя, и от цирка «Модерн» надо отказаться. Выставь анонс, что в борьбе не участвуешь.

Сторицын. Ты шутишь, Телемаша? А интересно бы знать, какое было сердце у римских гладиаторов – да, да, вероятно, удивительное сердце. Впрочем, пустяки, и мне совсем не нужно было обращаться к твоей помощи. Ты слушал только снаружи, а я слышу его изнутри, и я могу огорчить тебя, Телемаша, у меня ужаснейшее сердце!

Телемахов. Субъективные ощущения. Усталость.

Сторицын. Да? Ты Телемаша – юморист.

Телемахов. К сорока годам каждое сердце устает. Зачем столько работаешь, зачем столько куришь?

Сторицын. Да, зачем? Но, однако, пойду и доложу Елене, что у меня субъективные ощущения, она так

беспокоилась, добрый человек!

Модест Петрович. Может быть, сестру сюда позвать, Валентин Николаевич? Я позову.

Сторицын. Нет, Модест, я сам. Подожди меня, дружок, я быстро.

Уходит. Телемахов, заложив руки под сюртук, прохаживается по комнате, сердито косясь на Модеста Петровича; выпивает еще стакан вина. Затем останавливается перед Модестом Петровичем и долго в упор молча смотрит на него поверх очков.

Модест Петрович (робко). Так как же, профессор?..

Телемахов. А так, что плохо. Скверно. Беречь надо.

Модест Петрович. Но вы же сказали, что субъективные...

Телемахов. Сами вы субъект, Модест Петрович. Я еще поговорю с вашей сестрицей, а вы постарайтесь ей внушить, что безобразия ваши пора кончить. Понимаете?

Модест Петрович. Да как же я внушу?

Телемахов. Это уж ваше дело. Вы ей брат. Пора кончить, здесь вам не свинушник, да! Не свинушник. Саввич опять здесь?

Модест Петрович. Но войдите в мое положение!..

Телемахов. Не имею на это ни малейшего желания. Я вообще ни в чье положение входить не желаю, у меня свое положение. Что вы моргаете? Терпеть не могу, когда вы начинаете моргать, Модест Петрович!

Модест Петрович. Но, уважаемый...

Быстро входит Сторицын.

Сторицын. Там, оказывается, Саввич и этот проклятый писатель, Мамыкин. Неприличная фамилия – Мамыкин. Когда они пришли, я не слышал звонка... ах, до чего они мне надоели оба!

Телемахов. Выгони.

Сторицын. Экий ты, брат Телемаша, солдат. Но куда же ты? Неужели домой?

Телемахов. Надо. Больной ждет.

Сторицын. А я думал, вечерок посидишь, Телемаша, старый друг. Эх, жалко. Винца бы выпил – ты красное винцо по-прежнему любишь?

Телемахов. Я и сам бы рад... полчаса можно посидеть. Удивительно, что ты совсем не седеешь, Валентин Николаевич.

Сторицын. А ты изрядно пообносился, козлиная бородка! Сколько тебе лет, Телемаша? Я помню тебя лет тридцать, да до этого ты еще сколько-то жил...

Телемахов. Однолетки. Да, волчья шерсть. Как твоя книга: идет?

Сторицын. Да что, голубчик, удивительно! – пятое

издание готовлю.

Телемахов. Ого!

Сторицын. Да, непостижимо! Ну, а твоя как?

Телемахов. Моя? (*Смотрит поверх очков.*) Стоит на полках как вкопанная.

Сторицын. Да что ты! Это у тебя издатель плохой, Телемаша, это же недопустимо!

Телемахов. Издатель тут ни при чем, книга плохая.

Сторицын. Прекрасная книга, великолепная книга!

Телемахов. Ну, оставь, не люблю. Слушай, Валентин Николаевич, тебе надо остепениться в работе, – да, да, брат, слушай, что я говорю. Зачем выступаешь публично? – не надо. Успех, поклонницы и поклонники, – все это хорошо, но нужно и о здоровье подумать. Ты человек не первой молодости...

Модест Петрович. Валентин Николаевич работает ужасно, до обморока.

Сторицын. Но ты же знаешь, что я не для успеха и не для поклонниц. Что ты говоришь?

Телемахов. Ну – кто же не любит успеха! А скажи, с тобой за это время дурного ничего не случилось, ты что-то невесел? Я думал было, что книга села.

Сторицын. Дурного... Нет, кажется, ничего. Ты куда, Модест?

Модест Петрович. В столовую. Я сейчас вернусь.

Уходит.

Сторицын. Деликатнейший человек!

Телемахов неопределенно смотрит вслед Модесту Петровичу и молчит с явным неодобрением. Сторицын смеется.

Когда я вот так, вдвоем, смотрю на тебя, мне хочется смеяться, как жрецу. Ты все такой же, Телемахов?

Телемахов. А ты? А, пожалуй, пора бы перемениться. Еще не научила жизнь?

Сторицын (*улыбаясь*). Учит. Да, вот что я хотел сказать тебе: у меня книги стали пропадать. Ворует кто-то. На днях у букиниста нашел книгу со своим ex libris.

Телемахов (*исподлобья*). Нехорошо, профессор.

Сторицын. Да, очень. Дело не в книгах, хотя пропало довольно много, а в том, что где-то поблизости таится вор... и такой странный вор! Ужасное ощущение, от которого во всех комнатах температура становится на два градуса; ниже. Так-то, Телемахов!

Телемахов. Ex libris имеешь, а ключей от шкапов нет? Лучше наоборот, Валентин Николаевич: у меня простые; номера, но зато ключи есть, и ни одна книга пропасть не смеет! Нехорошо, профессор. Горничная у тебя грамотная, на кого ты думаешь?

Сторицын. Дуня наша неграмотная... и ни на кого я не думаю! Как ты не понимаешь этого, Телемаша: именно думать «на кого-то» я и не хочу. Есть люди,

которые радуются, найдя вора, поймав преступника, обнаружив лжеца, – они всегда удивляли меня. Когда я встречаю лжеца, – мне становится так... глупо как-то и нехорошо, что я... сам иногда помогаю ему лгать, против себя же. Нелепо, Телемаша?

Телемахов (*пытливо смотря на Сторицына*). Нет, постой, – это интересно: а секретарь, ну вот тот, что на машине работал, у тебя все тот же?

Сторицын. Нет уж, все, что хочешь, но только, Бога ради, без шерлоковщины! Достаточно и того, что вместо своих обычных мыслей, обычной работы, я вдруг на мгновение становлюсь... сыщиком. Эдакие тонкие мыслишки, комбинации, догадочки... фух, свинство! Свинство, профессор!

Телемахов. Самому и не надо, зачем? Заяви в полицию, тебе пришлют агента...

Сторицын. Оставь! Прости, Телемаша, я, кажется, немного резок, но все это волнует меня... до болезни. Выпей винца, кажется, то самое, что ты любишь... Дурного? Оно случается каждый день, и ты сам его знаешь не хуже меня. Сам ли я становлюсь зол и нетерпелив, но меня поражает ужасающее неблагородство русской нашей жизни. Столько грубости и хамства... противное слово!.. крика и дрязг, и везде на выставке кулак, кулак! В форме ли кукиша, наиболее мягкой с их точки зрения, а больше – в виде

гвоздящего молота. Вот вчера: стоит мой Сергей посередине передней и кричит: «Дунька, калоши!» Что за грубость, и откуда он ей научился? Я его, молоко-соса, никогда Сережкой не называл, а он стоит и кричит: «Дунька, калоши!» Или вот моя Елена Петровна – добрейший человек, ты ее знаешь, не вылезает из разной благотворительности, а не могу ее научить говорить прислуге «спасибо». «Мерси» еще может, это у нее выходит бессознательно и пусто, а «спасибо» – нет, ни за что! И что тут, подумаешь, трудного – спасибо.

Телемахов. Значит, трудно, коли за двадцать лет не научил. Что это она о тебе беспокоиться начала?

Тихо постучавшись, входит Модест Петрович, несет стакан чаю.

Сторицын. Это ты, Модест? Присаживайся, голубчик... Она всегда беспокоится.

Телемахов (*вставая*). Ну, не знаю. Дело ваше, у меня и своих Дунь достаточно. Так я поеду, Валентин, а ты уж постарайся не волноваться.

Сторицын (*обнимая его*). Спасибо, Телемаша, старый друг.

Телемахов. Знаю, что совет нелепый, но обязательный... Что у нас сегодня, пятница? Через недельку заеду, поболтаем. До свидания, голубчик. Ты меня не провожай, я еще к Елене Петровне на минутку зай-

ду. До свидания, Модест Петрович. *(Уходит.)*

Модест Петрович. Суровый человек, неприступный человек! Вот такие точь-в-точь судьи у меня были, как в тюрьму закатывали.

Сторицын. Он юморист. Они там?

Модест Петрович. Да. Сидят.

Сторицын. Не уходи, голубчик. Мне работать сегодня не хочется и не хочется, чтобы кто-нибудь сюда пришел. Ты что, старик?

Модест Петрович *(нерешительно смотрит на часы)*. Боюсь я, Валентин Николаевич, относительно поездов.

Сторицын. Ах, да брось твои Озерки! Черт тебя там поселил, в каких-то Озерках, мало тебе места в Петербурге. Когда последний поезд, в час? Ну, и успеешь, у меня на диване заснешь – ведь не девица. Оставайся.

Модест Петрович *(торопливо прячет часы)*. Я с удовольствием, Валентин Николаевич, только стеснить боюсь.

Сторицын. А какая неловкость вышла с книгой, Модест? Фу, черт, – впечатление такое, будто я хотел похвастаться своим успехом. Ужасно неловко! – я так люблю Телемашу... Про какую это еще тюрьму ты говоришь? Как ты не устанешь повторять одно и то же, старик! Не ты виноват, что дом развалился, а подряд-

чик, и пора же к этому привыкнуть наконец.

Модест Петрович. Хорошо, Валентин Николаевич... А он говорит: я, говорит, хам незнающий, надо мною, говорит, глаз нужен, если надо мною глаза не будет, я могу всю землю разрушить. Вот ведь как он говорит, Валентин Николаевич.

Сторицын. Оставь! (*Ходит.*) Он юморист. Я еще его жену помню, красивая была женщина – беспутная, кажется, или что-то в этом роде.

Модест Петрович. Красивее моей бывшей?

Сторицын. Твоя, извини меня, была рожа и мещанка, и ты должен радоваться, что она тебя вовремя выгнала. Они там?

Модест Петрович. Да, я уже говорил тебе, пьют чай... «Я честная женщина, мне незачем ногти чистить».

Сторицын (*ходит*). Печально, печально... Странно и печально. Вот он говорит, что каждое сердце устает к сорока годам – неправда это, Модест. Как может устать сердце? – это вздор. Сердце может плакать, кричать от боли, сердце может биться, как в оковах, но усталость! Мне сорок шесть лет, – а иногда тысячу сорок шесть, но с каждым днем жизнь я люблю все больше, работу мою все нежнее... К черту усталость, старик!

Модест Петрович. На тебя, Валентин Николаевич,

вся Европа смотрит.

Сторицын. Не шевелись, старик! Он сед и желт, как пергамент, что понимает он в радости? Он как глухой в опере. Откуда знать ему эту силу внезапных очарований, – радость трагического, – великолепный ужас внезапных встреч, неожиданных открытий, провалов и высот. Усталость! Вообрази, старик, что ты ученый и что ты тысячу лет искал...

Входит Елена Петровна – высокая, полная дама с бурным дыханием. Лицо ее еще красиво, но очень сильно напудрено. Особенно красивы глаза.

Сторицын (подавляя выражение недовольства). Ну что? наконец успокоилась, Елена?

Елена Петровна (пробуя его голову). Тебе не лучше?

Сторицын (осторожно отводя руку). При чем же здесь голова! Что у меня – дизентерия, как у грудного младенца?

Елена Петровна. Не волнуйся. Прокопий Евсеевич сказал, что прежде всего ты должен избегать волнений. Ах, Валентин, я так беспокоюсь! Ну, послушай меня, ну, поедем за границу, ты там отдохнешь, расеешься. Будем ходить по музеям, слушать музыку...

Сторицын. Нет. Мне надо работать, Лена.

Елена Петровна. Тогда зачем же ты жалуешься?

Сторицын. Я не жалуюсь, это тебе показалось.

Елена Петровна. Тогда не надо жаловаться, если не хочешь лечиться! Ну, не волнуйся, не волнуйся, я уже давно привыкла все делать по-твоему. Но, если тебе лучше, то, быть может, ты выйдешь в столовую: Гавриил Гавриилыч очень беспокоится и хотел сам поговорить с тобой о твоём здоровье.

Сторицын. Саввич? Нет, нет, пожалуйста, Лена: извинись и, вообще помягче, скажи, что я немного утомлен.

Елена Петровна. И княжна пришла.

Сторицын (*медленно*). Людмила Павловна?

Елена Петровна. Да, и непременно хочет видеть тебя. Я уже говорила ей, что ты не совсем здоров, но она такая назойливая...

Сторицын. Назойливая?

Елена Петровна. Не придирайся к словам, пожалуйста, у меня и так нервы расстроены. Если хочешь, я пришлю ее сюда, она тебя развлечет. О тех не беспокойся, они люди свои, и я им скажу, что это по делу. Я добрая, Валентинчик?

Сторицын (*целуя руку*). Но, пожалуйста, извинись, Лена, вообще помягче.

Елена Петровна. Ах, Валентинчик, я сегодня весь день плачу! Нет, не беспокойся, это я так, у меня ужаснейшие нервы. Будь умницей и не волнуйся, а я сейчас приведу ее. Кажется, девочка не на шутку влюб-

лена в тебя, пожалей ее. Je ne suis pas jalouse...

Сторицын (укоризненно и резко). Елена!

Но Елена Петровна уже уходит.

Модест Петрович. Людмила Павловна очень гордый человек. Прекрасная девушка!

Сторицын (сухо). Да? Где мой галстук, ты не видал, Модест? Дай скорей, голубчик! Если тебе когда-нибудь захочется сказать настоящую пошлость, то говори по-французски – удивительно удобный язык. И если тебе случится когда-нибудь захворать, Модест, то скрывай это так, как будто ты убийца и кого-нибудь зарезал...

У дверей Елена Петровна и княжна.

Елена Петровна (церемонно). Пожалуйста, княжна. Вот он, мой больной, развлеките его, он, бедненький, скучает. Un moment! Venez ici, Modeste!

Модест Петрович (торопливо). Иду, сестра, иду.

Поздоровавшись с княжной, уходит. Сторицын и княжна одни.

Сторицын. Людмила Павловна, я очень рад... Простите великодушно, здесь такой ужасный беспорядок. Этот поднос я уберу, эти бумаги я отложу, эти гранки – так; теперь садитесь, пожалуйста, Людмила Павловна.

Людмила Павловна. Вы нездоровы, Валентин Николаевич?

Сторицын. Пустяки, о которых чем меньше говорить, тем приятнее.

Людмила Павловна. Хорошо. Ваш кабинет теперь не такой, чем днем.

Сторицын. Лучше?

Людмила Павловна. Да. Я вам не мешаю?

Сторицын. Нет, Людмила Павловна, вы были больны?

Людмила Павловна. Нет, я была здорова. Я теперь каждый день езжу верхом на острова.

Сторицын. На острова? Да, конечно. Но я успел немного привыкнуть, чтобы мы вместе возвращались с курсов, и эти две недели...

Людмила Павловна. Вы привыкли, чтобы я вас провожала? Я не хотела.

Сторицын. Да, конечно. Не прикажете ли чаю, княжна?

Людмила Павловна. Нет, благодарю вас, я в это время не пью. У вас в столовой сидит Саввич? Он всегда там сидит?

Сторицын. Да, почти всегда. Во всяком случае — пять лет.

Людмила Павловна. И в кабинет вы его также пускаете?

Сторицын. Оставим Саввича. Вы и у нас долго не были, отчего?

Людмила Павловна. Тоже не хотела. Мне очень не нравится ваш дом. Вы ничего не имеете против, чтобы я так говорила? – я могу иначе.

Молчание. Сторицын тихо и нехотя смеется.

Сторицын. Я смотрю на ваши длинные перчатки и чувствую себя, как студент, который на балу случайно познакомился с великосветской барышней и не знает, о чем с ней говорить. На вас особенное платье – обыкновенно я не вижу, как одеваются женщины, но на вас особенное платье, и от этого я просто не узнаю своего кабинета. Интересно было бы видеть вас в амазонке. Впрочем, все это пустяки... и вы хорошо делаете, что молчите. Скажите, Людмила Павловна, вы прочли книги, которые я вам рекомендовал?

Людмила Павловна. Нет.

Сторицын (сухо). Вероятно, не было времени?

Людмила Павловна. Да. Я все думала, и мне некогда было читать.

Сторицын. О чем же?

Людмила Павловна. О жизни думала. И о вас думала.

Молчание. Сторицын быстро ходит.

Сторицын. Вы знаете, о чем я всегда мечтал?..

Людмила Павловна. Ваша жена сказала, что вам вредно волноваться.

Сторицын. Оставьте!.. Я мечтал о красоте. Как это

ни странно, но я, книжник, профессор в калошах, ученый обыватель, трамвайный путешественник, – я всегда мечтал о красоте. Я не помню, когда я был на выставке, я почти совсем лишен величайшего наслаждения – музыки, мне некогда прочесть стихи; наконец, мой дом... Вы слушаете?

Людмила Павловна. Да.

Сторицын. Но не в картинах дело, да и не в музыке. Вот говорят, что жить надо так и этак... много говорят, как, когда-нибудь вы все это узнаете, – я же знаю одно: жить надо красиво. Вы слушаете? Надо красиво мыслить, надо красиво чувствовать; конечно, и говорить надо красиво. Это пустяки, когда человек заявляет: у меня некрасивое лицо, у меня безобразный нос. Каждый человек – вы слушаете? – должен и может иметь красивое лицо.

Людмила Павловна. Как у вас?

Сторицын. Я вам очень благодарен, что вы мое лицо считаете красивым: я сам его сделал таким. Но это я, – а как же другие? Объясните мне эту загадку... эту печальнейшую загадку моей жизни: почему вокруг меня так мало красоты? Я надеюсь, я верю, что кто-нибудь из моих слушателей, которого я не знаю, которого я никогда не видел близко, унес с собой мой завет о красивой жизни и уже взрастил целый сад красоты, – но почему же вокруг меня такая... Аравийская пусты-

ня? Или мне суждено только искать и говорить, а делать, а пользоваться должны другие? Но это тяжело, это очень тяжело, Людмила Павловна.

Людмила Павловна. Наш дом очень красив, но от этого он еще хуже. Кто вам поставил розочку?

Сторицын. Модест. Это значит: или ваш дом в действительности некрасив, или же не так плох, как вы думаете.

Людмила Павловна. Нет, очень плох, я знаю.

Сторицын. Но ведь вы же из этого дома? Простите, княжна.

Людмила Павловна. Я не люблю, когда вы называете меня: княжна. И вы искренно думаете, профессор, что я красивая?

Сторицын смеется.

Сторицын. Да.

Людмила Павловна. Потом буду – да, а сейчас нет. Вы знаете, я бросила живопись. Это такой ужас! – я смешивала красивые краски, и вдруг на бумаге выходила гадость. А они хвалят. И вы знаете, зачем я езжу на острова? – думать. Однажды вы, Валентин Николаевич, посмотрели на меня с презрением...

Сторицын. Я?

Людмила Павловна. Да, вы, Валентин Николаевич, – и даже с отвращением. И с тех пор я все думаю, и если бы вы знали, как это трудно! Иногда я даже

плачу, так это трудно, а иногда радуюсь, как на Пасху, и мне хочется петь: Христос воскрес, Христос воскрес! И вы неверно думаете, что жить надо красиво...

Сторицын (*улыбаясь*). Неверно?

Людмила Павловна. Да. Жить надо – чтобы думать! Иногда я начинаю думать о самом безобразном, у нас на дворе есть такой мужик Карп – и чем больше я думаю, тем безобразия все меньше, и опять хочется петь: Христос воскрес!

Сторицын. Дорогая моя, но ведь это же и есть...

В дверь стучат.

Ах, Божемой. Войдите, кто там... Что надо, Модест?

Модест Петрович (*нерешительно подходя*). Прости, Валентин, но к тебе хотят Гавриил Гавриилович и Мамыкин.

Сторицын. Зачем это? Нельзя.

Модест Петрович. Но они уже идут. Гавриил Гавриилович беспокоится о твоём здоровье.

Входят Саввич и Мамыкин, некоторое время спустя – Елена Петровна. Саввич – полный, крупных размеров, красивый мужчина с черными, подстриженными щеткой усами.

Саввич. Хотя вы, профессор, и запретили строжайше входить в ваше святилище и хотя у нас и трясутся коленки от страха, но раз вы сделали исключение для

одной особы, то и мы решили с Мамыкиным: пусть исключение станет правилом. Садись, Мамыкин.

Сторицын (сухо). Садитесь, Мамыкин.

Саввич. Кроме шуток: как вы себя чувствуете, знаменитейший? Докторам не верьте, все доктора врут.

Сторицын. Меня выслушивал Телемахов.

Саввич. Знаю-с, но что отсюда следует? Позвольте, позвольте, хотя вы и знаменитейший профессор, а я никому не известный учитель гимназии, но я всегда позволяю себе говорить правду: ваш Телемахов – форменная бездарность. Почему вы не обратились к Семенову, ведь я же вам советовал? Не слушаете советов, а потом и киснете, как старая баба, извините за дружескую прямоту. Вот мне сорок лет, а вы выдали когда-нибудь, чтобы я был болен, жаловался: ах, головка болит, ах, сердце схватило! Ты видал, Мамыкин?

Мамыкин. Нет.

Саввич. И не увидишь! Исторический факт. Ты что, Мамыкин, закис: знаменитейшего испугался? Не бойся, он не кусается.

Мамыкин. Я никого не боюсь.

Саввич. И не бойся. Папироску возьми.

Мамыкин. У меня свои есть.

Саввич. Брось! Ты сколько за свои платишь: небось три копейки десяток, ведь ты пролетарий, а

профессорские с ароматом.

Сторицын. Пожалуйста, курите, Мамыкин.

Елена Петровна. Вы не знаете, княжна, когда первый абонемент в опере?

Саввич. Профессор, мы с Мамыкиным о рукописи зашли спросить... Виноват, княжна, вы что-то изволили сказать.

Людмила Павловна. Валентин Николаевич, вы свободны в воскресенье? Поедемте с вами куда-нибудь за город.

Сторицын. В воскресенье? А что у нас будет в воскресенье?

Саввич (*хохочет*). Пятница.

Сторицын (*смеясь*). То есть я хотел сказать, что у меня есть какое-то заседание.

Елена Петровна. Нет, нет, княжна. Бога ради, увезите его. Я буду от всей души благодарна! Ему так необходим воздух... я рассержусь, если ты не поедешь, Валентин.

Саввич. Разве и мне с вами проехаться? Я тоже давненько на лоне природы не был.

Мамыкин. Вы забыли, Гаврил Гавриилыч, в воскресенье я читаю у вас повесть.

Саввич. Ах да, да, да, – забыл, брат! И как раз днем. Послушаем, послушаем твои обличения!

Сторицын. Великолепно! Прекрасно! В конце кон-

цов это замечательная идея. Но, позвольте, куда же мы поедем? Или... или... А что, Модест, если мы приедем к тебе в Озерки? Как вы думаете, Людмила Павловна?

Людмила Павловна. Я согласна.

Модест Петрович. Валентин, милый, если ты не шутишь...

Сторицын. Не шевелись, старик! Но только как это сделать: мне за вами заехать, или (*тревожно*)... Модест, ты мне расписание дай, у тебя есть расписание?

Людмила Павловна. До свидания, Елена Петровна.

Елена Петровна. Куда же вы?

Людмила Павловна (*не отвечая*). Вы не можете сегодня проводить меня, Валентин Николаевич?

Сторицын. Сегодня?

Саввич. Сегодня ему нельзя.

Елена Петровна. Нет, отчего же. Конечно, пусть пройдетя, здесь так накурено.

Сторицын (*строго*). С удовольствием, Людмила Павловна... Я сейчас же вернусь, Елена.

Княжна прощается одним поклоном, не протягивая руки; Елена Петровна провожает ее, Модест Петрович и Сторицын идут сзади.

Сторицын (*на пороге*). Ах, да: не забудь же дать мне мелочи, Елена, я назад на извозчике... И где мой

портсигар? Здесь!

Выходят; Саввич и Мамыкин одни.

Саввич. Видал миндаль?

Мамыкин хихикает.

Ты, Мамыкин, смеешься, а меня возмущает вся эта профессорская порнография. Что понимает девчонка, да еще из такой семьи?

Мамыкин. А разве он?..

Саввич. Почему я знаю, я не шпион.

Мамыкин. Она сама увлекает.

Саввич. Не понимает, оттого и увлекает.

Мамыкин. Она нас презирает, Гаврил Гавриилыч.

Гордячка!

Саввич. То есть кого это нас – меня?

Мамыкин. Да и вас. Я все время глядел на нее, как она на вас посматривала, благодарю покорнейше.

Саввич. А вот я ее в следующий раз оциплю, как галку: будет знать. Не любят они правды, Мамыкин. Пойди сюда. Ты видал, какой письменный прибор у знаменитейшего?.. Посмотри.

Мамыкин. Чего я там не видал?

Саввич. Нет, ты посмотри... Чистейшая бронза! Нет, ты на руку взвесь. Что?

Мамыкин. Да.

Саввич. Тысячи две, как одна копейка; тебе, пролетарию, таких денег и не представить.

Мамыкин. А на прислуге лица нет, загоняли, как лошады! Что ж, прочтет он мою рукопись когда или нет, до каких же пор я ждать буду?

Саввич. Некогда.

Мамыкин. А провожать есть когда? Люди!

Саввич. Потерпишь.

Мамыкин. Я потерплю! Я потерплю! Да Боже ж ты мой!.. Как не просыпался у меня талант, так думал я: вот они, настоящие-то люди, литература-то наша, ученые-то наши. А как пошел ходить – что такое! Одна черная зависть, одно хамство, чуть-чуть собаками не травят, по три часа в передней с лакеями держат. Вижу я: схватился человек за свой сладкий кусок и аж дрожит – как бы кто не вырвал. Жил я цельный месяц у Сохонина: всей России известный писатель, народный печальник...

Саввич. Выдохся твой Сохонин, и охота была к нему ходить.

Мамыкин. Всей России известный писатель, а что у него в доме делается? Только и видишь, что жрут: ночь ли, полночь ли...

Входит Елена Петровна.

Елена Петровна. Господа, ужинать. Сергей и Модест уже за столом, идемте скорее, Мамыкин.

Саввич (*хохочет*). Ночь ли, полночь ли...

Елена Петровна. Что вы смеетесь? Мамыкин,

пройдите, пожалуйста, вперед, мне нужно несколько слов сказать Гавриилу Гаврииловичу.

Саввич. Что еще такое?

Елена Петровна. Нужно, раз говорю. Идите, идите, скажите там, что я сейчас.

Мамыкин уходит.

Саввич. Что это за тон? Я сколько раз тебе говорил, чтобы таким тоном ты не смела со мной разговаривать! Скажите пожалуйста!

Елена Петровна. Гавриил, сегодня я весь день плачу. Это ужасно, я с ума схожу! Гавриил, во имя всего святого, я умоляю тебя: продай бумаги, хоть на три тысячи, хоть на две. Я с ума схожу!

Саввич. Я вам уже объяснял, что сейчас, при те-перешнем состоянии биржи, мы ничего продавать не можем... Поняли? Поняли или нет?

Елена Петровна. Я ничего не понимаю. Меня под суд, я на себя руки наложу.

Саввич. Вздор-с! Выпутаетесь! Позвольте, что я вам – мальчик? Так я вам и поверю, что у вас с профессором двух тысяч нет! Что я, мальчик?

Елена Петровна. Двух копеек нет. Завтра на обед нечего.

Саввич. В старых юбках покопайтесь: не зашито ли.

Елена Петровна. Как вы смеете наконец! Я плачу,

я обращаюсь к вам, как к порядочному человеку, а вы ведете себя, как на улице.

Саввич. Что-с?

Елена Петровна (*задыхаясь*). Вы грубы, как пьяный сапожник. Я с ума схожу, когда говорю с вами. Какая низость! Вы не смеете так говорить в этом доме, да, да, не смеете. Вы забыли, в какой дом вы пришли. Вы... извозчик! По какому праву вы смеете кричать на меня, когда даже муж... даже муж...

Саввич. По праву вашего любовника, Елена Петровна. И если я себя веду, как сапожник, то вы ругаетесь, как кухарка. Стало быть – квиты.

Елена Петровна. Вы ограбили меня!

Саввич (*угрожающе*). Что такое? Прошу повторить! Что такое вы изволили сказать?

Елена Петровна. Прости меня, Гавриил, я не буду. Но я не могу слышать, когда ты так говоришь со мной. Зачем ты презираешь меня... Ведь не девчонка же я, я мать, меня все уважают. Ну, объясни, если я чего-нибудь не понимаю, но зачем же так грубо, с таким презрением, с такой насмешкой?.. Когда ты так говоришь со мною, я потом не смею никому в глаза взглянуть, мне начинает казаться, что я не жена профессора, образованная женщина, которая читает книги, которая говорит на языках, а переодетая кухарка, которую только что побил ее кум. Уважай меня хоть

немного, Гавриил, я не могу без уважения, – я руки на себя наложу!

Саввич. А вы меня уважаете? Позвольте, позвольте, кто это кричал сейчас: грабитель? Со мной нельзя так обращаться, сударыня, и если я хоть раз только услышу... Что-с?

Елена Петровна. Ну, прости. Ну, объясни.

Саввич. Объяснять? *(Отворачивается и становится в позу.)* Дура!

Елена Петровна. Но это так трудно! Я ничего не понимаю в твоей игре. Почему нельзя продать бумаг хоть на две тысячи? Я же не говорю, что надо все продать...

Саввич. Ограбил! подлец! А куда вы с вашим профессором пойдете, как с голоду начнете издыхать?.. Ко мне же! Кто ваши деньги сберегает, сам с вами рискует, трудовых денег не жалеет? Ведь если за вами не смотреть, так вы детей голых на улицу пустите спичками торговать. Что у вас за хозяйство: десять рублей за тысячу папирос платите, абонемент в опере имеете... в музыке ни уха ни рыла, а тоже – абонемент! Первое представление! Эстетика! Литература! Идеи!.. А кто два года за дрова не платил, ко мне же и со счетами лезете. Ты Бога благодарить должна, что встретился на пути честный человек с твердым характером...

Открывается дверь.

Сергей (с порога кричит). Что же ты, мама! Это безобразие! Два часа сидим за столом, мне заниматься надо.

Саввич. А ты не изволь кричать, хулиган! Вон!

Сергей (отступая). Что же это такое наконец. Тут вам не гимназия, Гавриил Гавриилыч, вы в частном доме и...

Саввич. Елена Петровна!

Елена Петровна (поспешно). Иди, иди, Сергей. Разве вам еще не подавали? Я сейчас, я только два слова... о здоровье папы. Иди.

Дверь со стуком захлопывается.

Саввич. Хулиган. Вы еще дождетесь, он себя покажет... мрачная рожа!

Елена Петровна. Прости меня. Ты очень разволновался, Гавриил?

Саввич. Пустите мою руку.

Елена Петровна (целуя его в щеку). Ну, прости. Только не оставляй меня, я с ума схожу.

Саввич. Под вексель возьми.

Елена Петровна. Постараюсь.

Саввич. Продавать сейчас нельзя.

Елена Петровна. Хорошо. Поцелуй меня, Гавриильчик. Я так одинока, я так боюсь всего. Поцелуй меня, не оставляй.

Саввич (*нехотя целует*). Зачем ты так пудришься, притронуться опасно.

Елена Петровна. Это я от слез. Ну, пойдем, а то все уже перегорело. Ах, Боже мой, Боже мой!

Занавес

Действие второе

Озерки. Маленькая ветхая дачка с терраской; некрашенные доски и подгнившие столбы темны от сырости, кое-где зеленеют мхом. Сентябрьский погожий день полон солнца, тишины и золотого покоя. Березовая рощица, в которой стоит дача, рябины и молоденькие, недавно посаженные клены у забора по-осеннему золотятся и багровеют. Нежный голубой туман уже в сотне шагов родит впечатление дали, делает воздушным и легким, как паутину, все тяжелое и прикрепленное к земле. За низким частокольчиком видны другие такие же маленькие и тесные дачки – теперь они пусты и покойны, как сон. Только большая дача через дорогу, наискосе, еще занята: туда наехали воскресные гости – много молодых девушек, студенты. Время от времени звучит рояль. От недалекой станции доносятся свистки проходящих поездов.

*В садике на скамейке полулежит **Володя**, лениво покусывает поднятый с земли лапчатый кленовый лист. Одет он, как рабочий: серая коломянковая блуза с ремненным поясом, высокие сапоги, ниже колен охваченные ремешком. Шурша палым листом, беспокойно прохаживается по дорожке **Модест Петро-***

вич; на нем старенький, но чистенький сюртук из черного сукна, мягкая фетровая шляпа. При седых кудрях, лежащих на ворот, он похож на старого художника-неудачника. Часто поглядывает на часы, всем видом выражает тяжелое беспокойство и тревогу.

Модест Петрович (бормочет). Ах, Боже мой, Боже мой... Ты что сказал, Володя?

Володя. Я ничего. Лежу.

Модест Петрович. Лежу!.. Эх, Володя: лежу. А ты когда-нибудь стоишь или ходишь? Нельзя быть таким ленивым, невозможно...

Володя. Я не ленив. Кабы машину не сломали, я бы сегодня обязательно полетел. Нас учатся пятнадцать человек, а машина всего одна, да и ту каждый раз кто-нибудь ломает.

Модест Петрович. Куда полетишь? Воробьев пугать? То, скажут, чучела на земле стояли, а теперь летать начали. Никуда ты не полетишь – молчи.

Володя. Я уж летал.

Модест Петрович. И не верю!

Володя. Метров на сорок два. Вы лучше посмотрите чем клеветать.

Модест Петрович. Клеветать?.. Да кто ты, скажи на милость: сын ли ты профессора Сторицына или вообще какая-то фигура?.. Монтер не монтер, шофер не

шофер, – черт тебя знает, кто ты. Сапоги! А ведь я помню тебя в бархатной курточке, с кудрями, как у ангельчика. Ну и детки, ну и детки... Ну и жизнь, ах, Боже мой...

Володя. Не огорчайтесь, дядя. Не всем же быть вундеркиндами.

Модест Петрович. Вундеркинд?.. Вундеркиндов, брат, из гимназии не выгоняют, вундеркинды, брат, в сапогах не ходят... э, да что ты, мешок, тюлень, сапог летающий, понимаешь в вундеркиндах? Без тебя тошно, а тут ты еще – позорище! Живет с каким-то пьяницей, опростился...

Володя. И опять клевета. Михаил Иванович вовсе и не пьяница и вам двадцать очков вперед даст. У нас, вы думаете, грязь или какое-нибудь безобразие? И вовсе нет: чисто, как на Рождество, два раза пол метем, а книг наломало меньше, чем у папахена. Михаил Иванович за книжку человека разорвать готов.

Модест Петрович. Так ты и читаешь?

Володя. Я нет, а Михаил Иванович читает. У нас такой уговор: все вместе, а керосин врозь: мне невыгодно. Михаил Иванович, дядя, замечательный человек. Это вы только и умеете, что ругаться, – Володька, да сапог, а Михаил Иванович никогда не ругается.

Модест Петрович. Никогда?

Володя. Никогда.

Модест Петрович. Нет, правда?

Володя. Никогда. Мы с ним даже на вы говорим: Михаил Иванович и Владимир Валентиныч.

Модест Петрович. Какие милостивые государи! Ну, живите, Господь с вами, кто вас там разберет, милостивых государей. Ах, Боже мой, Боже мой! (*Смотрит на часы.*) Теперь едут.

Володя. А вы, дядя, как будто и не рады папахену? Я бы на вашем месте радовался.

Модест Петрович. Не рад – что значит, Володя, это слово: не рад, когда на душе – черт знает что! И день, вдобавок, такой божественный, тут бы радоваться, тут бы ликовать, а вместо того: позор и убийство человека. Позор и убийство человека – вот как, Володя! Сам с тобою болтаю, а сам все на калитку гляжу: вот покажется Телемахов – ну, и конец! Убийство.

Володя (*приподымаясь*). Я ничего не понимаю, дядя. Сережка что-нибудь или мама?

Модест Петрович. Молод ты еще знать, и о матери говорить рано. Позор!

Володя. Я и так все знаю.

Модест Петрович. Ничего ты не знаешь... Одним словом, катал я вчера по всему городу, доставал две тысячи для Елены – ну, и могу я достать разве? Не достал, конец. Конец, Володя.

Володя. Папахену конец?

Модест Петрович. Какой это ужас – быть бессильным и трусом! Ворочаюсь и плачу, как во сне, а даже крикнуть – и то нет сил. Как я вчера умолял Телемахова, чуть на колена не падал, плакал, брат – нет! «Самому Валентину Николаевичу в руки дам, а вам с сестрицей – ни копейки». Жестокий, неприступный человек! И если сегодня к двенадцати Елена не достанет, то... Володя, голубчик, может, ты знаешь денежного человека, авиатора какого-нибудь? Нет?

Молчание.

Володя. Я, дядя, три месяца от мамы содержания не получаю, за этим было и к вам зашел, чтобы вы подействовали. Я ей писал заказным, да никакого толку, не отвечает. Пробовал я голодать, да меня Михаил Иванович обнаружил, теперь следит за мной. А какие у него деньги? У них же и забастовка на носу. Значит, теперь и нам крышка.

Модест Петрович. Ай-ай-ай, что же это такое? Что же ты сам не зашел, не потребовал?

Володя. Я от них, дядя, отрекся, и нога моя там не будет до скончания живота; разве только с машиной к ним упаду, так и то постараюсь, чтобы мимо ахнуть. Да вы обо мне не грустите, я устроюсь. Эх, папахен!

Модест Петрович. Ты писал ему?

Володя. Папахену? Ну нет, зачем же я его беспоко-

ить буду, сами посудите. Ну, я пойду, поезд засвистел, дайте полтинник.

Модест Петрович. На пять рублей, все равно деньги-то отцовские. А то подождал бы?

Володя. Нет, зачем его беспокоить. Спасибо, дядя. Ну, что вы на меня смотрите, дядя, конфузите меня, я этого не люблю, право! Эх, дурачье, машину сломали, полетать бы сегодня. Пойду той дорогой, а то встречусь. Вы меня, дядя, как оглоблей по голове, даже затылок свернулся.

Модест Петрович. И день-то какой чудесный...

Идут. Модест Петрович останавливается и шепчет: Саввич.

Володя. Да?

Модест Петрович молча кивает головой. Идут.

Убить бы его следовало.

Модест Петрович (*останавливается и снова шепчет*). Это мой ужас, Володя, мой ночной кошмар! До чего дошло: каждую ночь его вижу, все один и тот же сон... Нет, послушай: сидит будто папахен в каком-то многолюдном собрании, много венков и цветов, знаешь, вообще такой почет, некоторые даже плачут... и вдруг подходит к нему Саввич и говорит при общем молчании: «Вы меня оскорбили, профессор, а я никому не позволю себя оскорблять, мне наплевать, что все на вас молятся, а вот вам от меня – пощечина». И

бьет, понимаешь, бьет, прямо по лицу бьет...

Володя (*тяжело сопя и исподлобья глядя на Модеста Петровича*). А меня на этом собрании нет? За такой сон, дядя, вас самого можно...

Модест Петрович. Стой – кажется, его голос? Идут. Ну, ну, живее, брат, а мне поулыбаться надо. Приучить лицо... да, да, поулыбаться! Так, так.

Володя уходит. Модест Петрович один – неестественно скалит зубы, улыбается, приветливо кланяется и разводит руками.

Модест Петрович (*бормочет*). Дорогой мой, как я рад! Какой день! Княжна, наконец-то... Ерунда, ерунда на постном масле... Дурак, ничтожество. Как я рад, княжна...

К калитке подходят Сторицын и княжна. Модест Петрович устремляется к ним навстречу.

Модест Петрович. Какой день, Валентин, а? Позвольте, позвольте, княжна, я открою, вы не сумеете. Какой день... Как доехали, не тесно ли было, по воскресеньям всегда народ. Пожалуйста, Людмила Павловна. Видали, сколько на ту дачу народу наехало, и все ваши курсистки. Неужели тебя не узнали, Валентин Николаевич?

Людмила Павловна. Один студент поклонился, но очень скромно. Мне это очень понравилось.

Модест Петрович. Еще бы!.. Сейчас чай. Ну, как,

Валентин?

Сторицын. У тебя чудесно! Но сколько дач и все такие маленькие.

Модест Петрович. Летом шумно, а осенью и зимой очень хорошо. Ну, как доехали? Я чай приготовил в комнатах, Людмила Павловна, но, может быть, на террасу перенести? Я перенесу. Вы не бойтесь холоду, княжна: так тепло.

Сторицын. Постой... Это музыка? Послушайте, Людмила Павловна, музыка.

Модест Петрович. На той даче. Прекрасно играет!

Сторицын. У тебя чудесно! Ты счастливец, Модест!

Людмила Павловна. Ну, вы слушайте, Валентин Николаевич, а я хочу взглянуть... Покажите, Модест Петрович, как вы устроились? Это терраса, на которой будем пить чай?

Берет его под руку и ведет к дому.

У вас совсем хорошо, Модест Петрович. Это терраса?.. Модест Петрович, мне необходимо переговорить с Валентином Николаевичем. Тише... это для него... Нет, потом взгляну, а пока надо послушать... Не обращайтесь на нас внимания, Модест Петрович, хорошо?

Подходит к Сторицыну. Оба слушают музыку. На террасе Модест Петрович хлопчет с кухаркой у стола, часто поглядывая на калитку.

Сторицын. Когда радости слишком много, она переходит в грусть. Мне неловко сознаваться, это может показаться сентиментальностью, но я растроган... до смешного. Меня все сегодня удивляет. Меня удивляет воздух и это солнце – солнце осени. Меня удивляют желтые листья, их цвет, их рисунок; когда лист падает и ложится на мое плечо, мне кажется это необыкновенным, полным таинственного смысла. Или я никогда до сих пор не видал осени, или это вовсе не осень, а необыкновенное чудо, мировое событие, переселение народов... Вы слушаете?

Людмила Павловна. Говорите.

Сторицын. Я вижу, что и люди сегодня другие, в глазах у них золото и лазурь. И почему музыка? – это меня удивляет. Искал ли я музыки и вот нашел ее, или она меня ждала, но вот мы встретились – и все так чудесно, – и я смотрю на вас – и в ваших глазах золото и лазурь...

Людмила Павловна хмуро опускает глаза. Молчание. Сторицын улыбается и сверху внимательно смотрит на девушку.

Людмила Павловна. Зачем вы меня мучите, Валентин Николаевич?

Сторицын. Разве? (Серьезно.) Так надо.

Людмила Павловна. Нет, так не надо. Вы сомневаетесь в моей силе?

Сторицын. Нет, я верю в вашу силу. И в гордость вашу верю, Людмила Павловна.

Людмила Павловна. Гордость? Не знаю. Но с тех пор, как я стала думать, я сделалась сильнее всех на свете. Вам, привыкшему размышлять, все видеть и понимать – вам трудно представить, что это значит, когда человек впервые начал думать. Живешь, как в урагане, все разрушается и падает быстрее, чем при землетрясении. Вокруг меня – одни развалины, Валентин Николаевич! Но вы еще молчите? Если я захочу, я завтра же могу уйти, и никто, ни отец, ни братья не посмеют даже взглянуть на меня. Но вы еще молчите? Отчего вы так побледнели вдруг? Сегодня я решила все сказать.

Сторицын. Нет.

Людмила Павловна. Вы не хотите? Мне надо молчать? – что ж, я молчу.

Молчание.

Она была похожа на меня, та девушка, которой вы никогда не сказали о вашей любви?

Сторицын. Нет, это была бедная девочка в рваном пальто. Она умерла от чахотки.

Людмила Павловна (сурово). Я хотела бы пойти на ее могилу и сказать ей.

Сторицын. Я не знаю, где ее могила. Я не знаю, где могилы моих надежд и радостей: они рассеяны по

всему миру. Иногда весь мир для меня только кладбище, а я – немой сторож при могилах. Но сегодня со мной творится что-то чудовищное. Я так радостен, что это становится болью, страданием... и от этого я бледнею. Раскрылись могилы, и воскресли мертвецы. Со всего мира внезапно упала его тяжкая завеса – и я вижу светлого Бога моей мечты. Вот то, чего еще никто не слышал от меня, слова, которые нужно забыть, как только их услышишь... И вы забудьте!

Людмила Павловна. Да.

Сторицын. Всю жизнь и во всем: в моей науке, в моих книгах, в людях и вещах, радуясь и страдая, я искал одно: ее, чистую, без нетления Бога-Слово родшую. Образ ли это человека, девушки, женщины или самой красоты – я не знаю. Сегодня с мира упала завеса, и я вижу нетленное во всем: может быть, это красота, а может быть – вы. Я думаю, что это – вы.

Людмила Павловна. Мне страшно.

Сторицын. Да. Страшные слова, трагический завет, и мне хочется обнажить голову, когда только в мыслях моих, только в голове моей прозвучат они. Есть на свете матери многих детей, оставшиеся девушками... и есть грудные девочки – растленные, как проститутки!.. Простите, княжна.

Людмила Павловна. Говорите.

Сторицын. В небе, над нами, я вижу нетленное:

нетленное я вижу в ваших глазах... и да сохранит вас Бог, Людмила Павловна! Когда вы выйдете замуж... да, да, выйдете замуж, то во имя того человека, который будет любить вас, во имя моей любви, всей моей жизни, я говорю вам: сохраните нетленное. Помните, что только без нетления рождают женщины Бога-Слово, а иначе у них родятся... только дети...

Людмила Павловна. Да.

Сторицын. Осторожнее: ваше «да» звучит как клятва!

Людмила Павловна. Да. Это и есть клятва! Но разве и теперь, когда я поклялась, я должна молчать? Я не хочу молчать. Или вы только один искали и мучились? Я тоже искала, тысячу тысяч лет ждала и искала, и когда я нашла, мне говорят: нет. Молчи! Забуди! Я не девочка, которая может позволить себе умереть от чахотки, и я не стану умирать. Вы также горды, и я сегодня поняла вас: вы боитесь вульгарного романа между профессором и красивой курсисткой, вы боитесь...

Сторицын. Нет.

Молчание.

Людмила Павловна (*пугаясь*). Извините меня, я, кажется, оскорбила вас, Валентин Николаевич. Простите меня. Сегодня...

Сторицын. Сегодня мы видимся последний раз. И

я вас люблю – отчего же мне не сказать и этого? И я отчаянно, непередаваемо одинок в этом мире моих могил – отчего же мне и этого не сказать? Все можно сказать, все могу сказать, и все это значит только одно: я вижу в последний раз ваше лицо, Людмила Павловна.

Людмила Павловна. Я знаю: вы хотите от меня подвига? Ваша красота – подвиг?

Сторицын. Да. Моя красота жизни – подвиг. Вы молоды – живите. Кто ищет подвига, тот всегда найдет его, и когда найдете, вы и совершите, и ваша жизнь станет прекрасна, как ваше лицо, – тогда придите ко мне. Пусть это будет тогда только моя могила – я из могилы отвечу вам, подниму могильный камень и отвечу.

Людмила Павловна. А если это будет моя могила?

Сторицын. Тогда я приду на нее, и вы услышите мой голос. Но сейчас... не оскорбляйтесь, княжна: сейчас я еще... не совсем... верю вот в эту вашу красоту. Да, я вижу нетленное в ваших глазах, но, Боже мой!.. – я уже не молод, княжна, надо говорить правду, и мне будет стыдно, ужасно стыдно, если... Мне и сейчас немного стыдно, княжна, и только вот это золото и лазурь несколько оправдывают меня. Честное слово, мне вдруг захотелось покраснеть. Забудьте! Вам больно, Людмила Павловна?

Людмила Павловна. Да. Ничего. Простите меня, я очень виновата.

Сторицын. Но вы можете улыбнуться?

Людмила Павловна. Для вас – да.

Сторицын (*гневно и страстно*). Ах, если бы вы, знали!.. (*Сдержанно и почти шутливо.*) Ничего, я также улыбаюсь. Меня многие считают слепцом, Людмила Павловна, а я вот никак не могу понять: слишком ли я слеп или слишком зряч? Но, в конце концов, то и другое – слепота.

Модест Петрович (*издали*). Профессор, Валентин, чай готов.

Сторицын. Сейчас. (*Тихо.*) Деликатнейший человек! – вы знаете, он нарочно нас оставил, чтобы мы могли поговорить... Вы улыбаетесь? Честное слово, мне опять захотелось покраснеть, это становится глупо. Идите, дорогая, я хочу побыть один. Когда вы рядом, время бежит убийственно быстро, а его так мало... Да, да, улыбайтесь, ибо сказано про день сегодняшний: да будет свет и да будет счастье.

Людмила Павловна. Сейчас, Модест Петрович, я иду... А завтра?

Сторицын. Кто знает завтра?.. Идите, дорогая, а то Модест начинает что-то подозревать, ужасный старикашка.

Княжна идет на террасу, с каждым шагом стано-

вась все сумрачное и строже. Сторицын сосредоточенно думает, лицо его ясно и спокойно.

Модест Петрович. Пожалуйте, Людмила Павловна, чай готов. Не крепко ли я налил, я неумелый хозяин, так редко принимаю гостей, что... Какой прекрасный день!.. Что с ним, княжна, отчего вы так... простите, может быть, я не смею, но вы очень расстроены?

Людмила Павловна. С ним? – я не знаю. Но что с вами? Вы больны или что-нибудь случилось?

Модест Петрович. Да.

Людмила Павловна. У них в доме?

Модест Петрович. Да. Ах, если бы вы знали... Я глаз не свожу с калитки. Если сейчас придет один человек, то... Княжна, может быть, это нескромно, но я должен сказать, вы одна только можете... Спасите его! Елена – моя сестра, но... *(Неестественно громко.)* Не крепок чай, а? Я налью другого.

Людмила Павловна. Но разве он может позволить, чтобы его спасали? *(Горько смеется.)* Вы бы взяли мою жизнь, Модест Петрович?

Модест Петрович. Не только я, княжна, но вся Европа... Надо его звать.

Людмила Павловна. Нам надо быть на свидании. Я вам напишу, когда, хорошо? Он ничего не хочет говорить о своей жизни, а мне надо знать все – для него, понимаете? *(С тем же горьким смехом.)* Ведь спаса-

ют же людей насильно!

Модест Петрович (*решительно*). Конечно, конечно... Валентин Николаевич, твой чай остыл, голубчик. Иди.

Сторицын. Иду.

Модест Петрович (*тихо и торопливо*). А мы вот что: мы возьмем да уйдем куда-нибудь, пусть ищет. О, Господи!.. Ну и денек сегодня, Валентин, это не день, а настоящий, как бы это сказать... что есть такое подходящее? Вот твой стакан. Кстати, забыл сказать: сегодня у меня был Володя, такой вообще чудак, очень милый юноша.

Сторицын (*переставая улыбаться*). Владимир? – отчего же он не остался и не подождал меня? Жаль. Это мой старший сын, Людмила Павловна.

Людмила Павловна. Вы его любите?

Сторицын. Да... Но у тебя так прекрасно, старик, что я начинаю смотреть на тебя с благоговением. Ты маг и волшебник: ты колдуешь, и от этого все сегодня удается мне. Ну, разве дома мне позволили бы пить такой деготь вместо чаю?.. Нет, нет, оставь.

Модест Петрович. Я не видал тебя таким, Валентин Николаевич.

Сторицын. Да? А разве я еще когда-нибудь был таким? Таким два раза не бывают – как не рождаются два раза и два раза не умирают. Сегодняшний день запи-

сан в Книге Судеб, старик!

Модест Петрович. Не пройтись ли нам в рощицу?

Сторицын. Сейчас не надо думать, Людмила Павловна! Что же, можно и в рощицу. А нет ли у тебя горы, Модест, хотя бы небольшой?

Модест Петрович. Извини, Валентин Николаевич, горы нет. Есть бугорки, но...

Сторицын. Жаль. Мне бы хотелось сегодня взойти на высочайшую гору и оттуда взглянуть на землю. Если сегодня даже этот кусочек земли так прекрасен, то как же все?

Людмила Павловна. И что-нибудь сказать оттуда?

Сторицын. С горы? *(Перестает улыбаться и мрачно смотрит на княжну.)* Нет. Вы проникли почти в самую глубину моих мыслей... но в конечном выводе вы ошиблись, княжна. Нет, я не пророк. Я скромный и тихий русский человек, родившийся с огромной и, по-видимому, случайной потребностью в красоте, в красивой и осмысленной жизни. У каждого из нас есть свой палач – и мои палачи: грубость – безобразия – и неблагородство нашей жизни. И мне ли, уже изъязвленному, прошедшему пытку огнем и водой, с часу на час вот уже десяток лет ожидающему какого-то последнего и страшного удара, – мне ли проповедовать с горы? Но не надо, не надо, дорогая... Сегодня я счастлив, сегодня я радуюсь своей судьбе, се-

годня я вижу нетленную красоту – будьте же радостны и вы! Улыбайтесь, смейтесь, заколдуете музыку и велите ей играть – громко и всем Озеркам заявите, что сегодня – наш праздник. Смотрите – Модест уже улыбается.

Модест Петрович. Да, я очень рад. День, действительно, необыкновенный. Но не пора ли в рощу? – скоро темнеть начнет. А, может быть, еще чаю, Валентин Николаевич?

Сторицын (*вставая*). Идем.

Модест Петрович. Идем. (*Шепчет.*) День проходит, день проходит, княжна!

Сторицын (*радостно*). Нет, ты посмотри, Модест, кто это? Это Телемахов ломает калитку. Вот радость! Людмила Павловна, вот радость! (*Сбегает в сад.*)

Людмила Павловна (*к Модесту Петровичу*). Это тот, кого вы ждали?

Модест Петрович. Тот. Тот самый.

Сторицын. Телемаша, старый друг! Нет, вы видите эту козлиную бородку, этот древний нос, оседланный очками... (*Целуются.*) И еще, и еще. Скорее красного винца, Модест; Телемаша не может без винца!

Телемахов. Здравствуйте... У вас, Модест Петрович, не калитка, а проволочное ограждение. Так нельзя.

Модест Петрович. От коров, профессор.

Телемахов. Нельзя так. Я рукав разорвал.

Сторицын (*любуясь*). Юморист, Телемаша! Но как ты нашел меня? Так же, как эта музыка нашла меня, как это солнце? Ты знаешь ли, что сегодня мне все удается.

Телемахов. Так и нашел, что два часа Озерки изучаю. Ваш дом чей?

Модест Петрович. Королевой.

Телемахов. А мне сказали, что Кораблева. Не могут адреса правильно записать.

Сторицын. Юморист, ужаснейший весельчак! Ты, значит, у нас в доме был?

Телемахов. Был. Ну, как ты? Вид у тебя хороший.

Сторицын. Совсем хорошо. Спроси у них.

Телемахов. Ага. У вас тут приятно, и воздух сравнительно чистый. Чаю я не хочу, а вина выпью, не беспокойтесь, я сам привык наливать... Что это за студенты там? Кричат.

Модест Петрович. Сегодня праздник, гости приехали.

Телемахов. Сколько платите за дачу?

Модест Петрович. Если на круглый год, то двадцать пять в месяц. Не дорого.

Телемахов. И не дешево. Сыро? Тут ревматизмом пахнет.

Сторицын (*обнимает Телемахова*). Ты очаровате-

лен, Телемаша. Ты когда шел, хоть раз посмотрел во-круг? Ты посмотри: это что? Это что? Пей спокойно и молчи: ревматизма здесь нет. Но и вы хмуритесь, господа: знаете, мне становится неловко за свое ве-селье.

Входит кухарка Феклуша, одетая празднично.

Феклуша. Барин, а барин... Какая-то барышня бу-кет вам принесла, передать велела. Натэ-ка...

Модест Петрович (*беря большой букет из осен-них листьев и цветов*). Барышня? Кому передать?

Феклуша. Не знаю. Гостю какому-то. Сама, говорю, отдайте, так она: нет, говорит, как же я могу в чужой дом? Я на кухню пойду.

Модест Петрович (*встает и торжественно пе-редает цветы Сторицыну*). Это тебе, Валентин Ни-колаевич. Теперь и моя хижина стала знаменитой! Жаль, нет у меня цветов, чтобы присоединить их к этому дару чистой юности...

Людмила Павловна. Вы опять побледнели, Ва-лентин Николаевич?

Телемахов искоса смотрит на Сторицына и опу-скает глаза.

Сторицын. Хорошо бы поцеловать руку, которая собирала цветы: вероятно, это еще маленькая и очень глупенькая ручка. У нее не хватает силы под-нять камень – и вот она приносит цветы.

Людмила Павловна. Зачем так зло? Они вас любят.

Сторицын. А я?.. Но... молчание, молчание, как говорит Гамлет. Где мое пальто, Модест, становится холодно. Тебе не холодно, Телемаша?

Телемахов. Терпеть не могу Гамлетов. Впрочем, некоторые, вероятно, не разделяют моего вкуса, извиняюсь. Нет, не холодно.

Модест Петрович. А в рощу, значит, так и не пойдем?

Телемахов. А это далеко?

Сторицын. Но ты устал, Прокопий, мы можем ходить.

Телемахов. Нет, отчего же? Вот вы, барышня, берите Модеста Петровича и прогуляйтесь, пройдитесь а мы тут немного поболтаем, поговорим. Погуляйте.

Сторицын (*удивленно.*) Что такое? Неотложное дело? Странно. Мы только позавчера виделись.

Телемахов. Да, так кое-что.

Сторицын оглядывает всех, тревожится сильнее.

Сторицын. Странно! Значит, ты меня искал... Странно!.. Пожалуйста,йдите, княжна... Минут двадцать тебе довольно, Телемахов?

Телемахов. Довольно. Я сам в город тороплюсь. Что вы задумались, Модест Петрович?

Людмила Павловна. Идемте. Я буду близко, Валентин Николаевич.

Быстро идет к калитке: за ней Модест Петрович; Телемахов смотрит вслед, избегает взглянуть, на Сторицына.

Телемахов. Она действительно княжна?.. Красивая девица. Твоя слушательница?

Сторицын. Что случилось? Касается Сергея? Говори.

Телемахов (*начиная смотреть на него*). Говорить? Мне вовсе не улыбается, Валентин Николаевич, быт вестником несчастья и врываться в вашу... идиллию. У меня и своих дел достаточно, и я удивляюсь людям, которые не желают этого понимать. Ну, ну, не волнуйся, особенного ничего, вздор! Я тебе говорил или нет, что жене, Елене Петровне, не следует заниматься благотворительностью? Ну, все равно, говорил или нет. Там, в Обществе, произошла маленькая растрата.

Смотрит на Сторицына, тот неподвижен.

Тысячи что-то две, пустяки.

Сторицын. И подлог?

Телемахов. Да. И подлог. Пустяки! Последний срок для взноса завтра, да и то только во внимание к твоему имени и положению. Надо внести, Валентин Николаевич.

Сторицын. У меня денег нет.

Телемахов. Найди. Надо найти. Иначе суд и позор!

Сторицын. Пусть суд и позор.

Телемахов. Глупо, Валентин Николаевич. Я менее всего намереваюсь покрывать мошенников и растратчиков, но до суда ты доводить не должен. Кому принесет пользу твой позор? Не надо, чтобы улица хохотала и глумилась над профессором Сторицыным. Внеси, надо внести. И как не быть деньгам? Зарабатывай я столько, я бы дом на Каменноостровском имел. Возьми у издателя.

Сторицын. Все взято. Но почему это мой позор? По-твоему, Телемахов, это позорно: быть обманутым или обокраденным?

Телемахов. По-моему, позорно не иметь глаз или... умышленно закрывать их. Скажу откровенно: меня уже просили тайно от тебя ссудить эти деньги, давали клятвы и прочее... но я отказал. Тебе, Валентин, в руки — хоть все мое достояние, делай с ним, что хочешь, верю! — но условие одно: возьми их с открытыми глазами. Пора.

Сторицын. Ты знаешь меня с детства и думаешь все-таки, что я умышленно закрывал глаза?

Телемахов. Не знаю. Но не слеп же ты в самом деле? Я не хочу учить тебя, Валентин Николаевич, и не мне, бездарности, лезть в проповедники... но так

нельзя, голубчик! У вас в доме порядочному человеку бывать нельзя – тошнит. Если не можешь справиться, не хватает характера, так уйди, брось, не пачкайся. Я-то еще, пожалуй, поверю, ну а другие не поверят. В конце концов, как не видеть... Саввича? Этого, воля твоя, я не понимаю. Не понимаю, хоть расстреляй!

Сторицын. Это первая растрата?

Телемахов. Не знаю. Да и Саввича кто сделал таким? Я еще не забыл, каким он вошел: он и тогда был красавец мужчина, хам и мерзавец, рыцарь, чтоб черт его взял! – но чтобы до такой наглости и спокойствия... Он и на прислугу кричит, он и на жену твою кричит, он и детей твоих воспитывает, и кто же у вас в конце концов хозяин? Он, кажется, и тебя жить учил...

Сторицын. Ты также учишь меня жить.

Телемахов (*яростно*). Прошу не сравнивать!

Молчание. Темнеет. На некоторых дачах загорелись первые вечерние огоньки. Около станции тяжело и медленно сопит и лязгает железом поезд.

Не понимаю. Психологических загадок решать не умею! Каждая кошка на лестнице, и та знает, а ты как с неба свалился. Впрочем, я биолог и реалист, – извиняюсь.

Сторицын. Не веришь?

Телемахов (*пожимая плечами*). Верю. Володька головотяп, и тот ушел. В конце концов надо платить, Ва-

лентин Николаевич... ты мне позволишь внести деньги?

Сторицын. Нет, не позволю.

Телемахов. Значит, суд и позор, пусть улица хохочет! Японская месть – взрезать себе живот, чтобы им стыдно было? Не могу удержаться, чтобы дружески не сказать тебе, Валентин Николаевич: трижды глупо! Им арестантские легче, чем тебе свидетельское кресло... если только свидетельское.

Сторицын. Да? Во всяком случае, благодарю тебе! за дружеское предложение.

Телемахов. Не стоит. Извиняюсь, что побеспокоил!

Сторицын. Ты сейчас едешь? Мы едем с первым поездом, вероятно, вместе? Я еще раз благодарю тебя: если не слова твои, о которых позволь мне иметь свое мнение, то твой поступок вполне дружеский. Как похолодело однако.

Телемахов (*пожимая плечами*). Не спорю. А как твое сердце?

Сторицын. Очень хорошо. Я уже принимал два раз ту микстуру, что ты дал. Она успокаивает. Потом еще нюхать что-то?.. Я забыл.

Телемахов. Да, если плохо почувствуешь. Завтра к тебе не приехать?

Сторицын. Это зачем? Кстати: как вообще твоя практика? Я слышал, растет, скоро модным профессо-

ром станешь.

Телемахов. Благодарю, недурно. А вон и Модест.

Сторицын. Сейчас спросим у него расписание. *(Спускаясь с террасы.)* Простите, Людмила Павловна, мне необходимо ехать домой – сейчас же – и нам приходится прервать наш праздник. Если этот день и записан в Книге Судеб, то несколько иначе, чем я полагал.

Модест Петрович. Мне можно с тобою, Валентин?

Сторицын. Конечно, мы вместе и поедем. Кстати, ты проводишь и Людмилу Павловну. Когда поезд?

Людмила Павловна *(тихо)*. Не ездите домой.

Модест Петрович. Через полчаса, еще успеем. Я только накидку возьму, я сейчас.

Телемахов. А я потихоньку вперед пойду, на форме подожду. Я не из ходяков. Ведь и сделают же люди калитку!

Выходит. *Сторицын и Людмила Павловна одни.*

Людмила Павловна *(торопливо)*. Валентин Николаевич, не ездите домой. Не ездите.

Сторицын. Так надо.

Людмила Павловна. Ну, тогда – я люблю вас! Не забывайте, не забывайте!

Молчание.

Людмила Павловна *(в отчаянии)*. Вы молчите? Ну, тогда – вспомните девочку в рваном пальто. Вы не

смеете ее забыть, не смеете.

Появляется Модест Петрович; в своем плаще и шляпе он похож на старого итальянского бандита.

Модест Петрович. Вот и я. (С судорожным весельем.) И вечер-то такой божественный! Да вы не торопитесь, время еще достаточно... Погодите, а цветы? Цветы-то мы и забыли. Сейчас, сейчас!..

Сторицын и княжна молча, двумя темными силуэтами, стоят у открытой калитки.

Занавес

Действие третье

Продолжение того же дня.

Кабинет Сторицына. Огни уже зажжены, но портьеры не завешены, и с улицы, несмотря на двойные стекла, доносится вечерний воскресный шум. В одно из окон видно, как над фронтоном дома на противоположной стороне вспыхивает электрическая вывеска-реклама: «Скетинг-ринк». На обычном месте профессора, у его стола, сидит Саввич, в руках карандаш, которым он поигрывает во время разговора; наискось, у того же стола, в кресле сидит и внимательно слушает его Елена Петровна. Глаза у нее заплаканы и припухли, часто вздыхает.

Елена Петровна. Говорите, Гавриил Гавриилыч, я слушаю.

Саввич. Повторяю и настаиваю, что это даже к лучшему, что профессор узнает про твою игру на бирже. Почему? Потому что нарыв созрел и должен прорваться, как говорят в этих случаях врачи. Конечно, он поволнуется, потому что кому же приятно, чтобы его деньгами распоряжались без спросу, но зато мы сможем играть открыто. Мне надоела...

Елена Петровна. Но, Гавриил!.. Но ты не знаешь его характера.

Саввич. Не перебивай, а лучше слушай, что тебе говорят. Мне надоела, повторяю, роль тайного при- спешника, который должен прятаться и моргать гла- зами, вроде твоего братца-идиота, Модеста. Что я, мошенник или честный человек? Во-первых, вместе с вами я рискую моими трудовыми деньгами, скажи ему; во-вторых, как в случае выигрыша, так проигры- ша, я участвую сообразно своей доле.

Елена Петровна. Но он не поймет, Гавриил Гаври- илович!.. Извини, я слушаю тебя очень внимательно, ценю каждое твое слово, но он не поймет, даю голову на отсечение! Он очень ценит тебя и уважает, он ве- рит в твое бескорыстие...

Саввич. Он меня знает.

Елена Петровна. Я так тороплюсь... Я не могу!

Саввич. Говори, время еще есть. Конечно, он очень умный человек, я сам его уважаю, а с умным чело- веком всегда можно сговориться. Дай только первому пылу пройти.

Елена Петровна. Нет, нет! Уверяю вас, Гавриил Гавриилович, что нет! У него ужаснейший характер, и если он не захочет чего-нибудь понять, то с ним мож- но с ума сойти! Он скажет просто, что это очень плохо, и тогда... я не знаю...

Саввич. Плохо? Ну, если он не захочет понимать, тогда пошли его ко мне, я ему втолкую. Плохо, ска-

жите пожалуйста! Для него же, для его же семьи стараются, а он будет корежиться и краснеть, как невинность: «Ах, не надо! Ах, не хочу, ах, я умру от стыда!» Не умрет, знаю я ихнего брата, повидал достаточно. Я даже рад, что есть случай сказать ему правду в глаза, пусть другие холопствуют, если хотят, а мне наплевать, что он профессор. Я сам теперь был бы профессором, если бы не увлекся женщинами... не у всякого же такой лягушечий темперамент!

Елена Петровна. Но две тысячи? *(Вздрыгнув.)* Я с ума сойду, Гавриил...

Саввич. Не сойдешь, не с чего сходить. Позвольте, позвольте, у нас через неделю пятьдесят тысяч будет, а я из-за каприза, из-за прихоти стану на улицу деньги бросать? Копейки не пожертвую, скажи ему, копейки! Одумается, сам благодарить будет. Деньги же, две тысячи, пусть возьмет у Телемахова, а не захочет одолжаться у посторонних, – понимаешь? – то я могу достать ему под вексель: слава Богу, я не мошенник и не дам пропасть человеку. Ну – сумеешь сказать, не напутаешь?

Елена Петровна. Не знаю, постараюсь. Я очень волнуюсь, Гавриил, я едва дышу, у меня всю грудь стеснило!

Саввич. Да уж за версту слышно, как корсет скрипит. Это от полнокровия, много вы едите. Только раз-

говаривай с ним деликатнее, слышишь? Лучше плачь, если не сумеешь по-человечески говорить, а не насканькивай, как корова на забор. (*Небрежно.*) Книжку положила?

Елена Петровна. Да.

Саввич. Скажи, что мимоходом на Литейном увидел, подумал, что ему может пригодиться, интересная книжонка. И про Сережку ему обязательно скажи, пусть посмотрит, каков хулиган. Скажи, что, если б не я, так давно бы его Сережку из гимназии выперли, не посмотрели бы, что папаша профессор... Обязательно скажи, не забудь, что я...

Елена Петровна. Ох, кажется, звонок. Это он... иди, идите, Гавриил Гавриилыч.

Саввич (*смотрит на часы*). Нет еще, но скоро будет, поезд уже пришел. Но, однако, я пойду. Слушай, Лена: минут на десять я выйду с Мамыкиным, кстати, и ветчины к ужину возьму, а потом буду в столовой.

Елена Петровна. Да, да, мерси. Но, может быть, тебе сегодня не приходиться, лучше завтра, он успокоится...

Саввич. Убьет? Я не трус, Елена Петровна. Ну, ну, не волнуйся, в случае чего я там буду... Давай лоб, я тебя поцелую. (*Целует.*) Так, по-родительски. И, пожалуйста, не трусь, Леночка: Бог не выдаст, свинья не съест. Ветчины я сегодня на свои возьму, некогда пу-

таться со счетами. Адье.

Уходит. Елена Петровна некоторое время стоит у окна, смотрит на улицу, потом садится за стол, на место профессора, и плачет, закрываясь платком. Едва успевает, услышав шаги, встать и опривиться, когда входит Валентин Николаевич. В руке у него цветы, для которых он ищет места, видимо, не совсем ясно отдавая себе отчет: соображает и бросает цветы на стол. Молчание. Елена Петровна нерешительно берет букет.

Елена Петровна. Можно? (*Нюхает очень долго.*) Какой красивый букет и так хорошо пахнет, по-осеннему. (*Осторожно кладет букет на место.*) Ты чаю хочешь, Валентин?

Сторицын. Да. (*Звонит.*)

Елена Петровна. Какая сегодня удивительная погода, трудно в комнатах сидеть.

Входит горничная.

Дуня, чаю Валентину Николаевичу. Сторицын. Пожалуйста, Дуня, покрепче.

Горничная выходит. Елена Петровна все так же нерешительно, как и все, что она сейчас делает, присаживается на кончик дивана.

У Сергея, кажется, гости?

Елена Петровна (*оживленно*). Да, два товарища. Один Щукин, хорошо играет на балалайке, просто

удивительно, настоящий артист! Они скоро уйдут. Сережа тоже просит балалайку... но только я хотела сказать тебе, Валентин, про Сережу...

Сторицын. Потом.

Пока горничная приносит чай и уходит, в кабинете напряженное молчание. В раскрытые двери ясно слышно, как две балалайки играют: «По улице мостовой...» При закрытых дверях звуки слабее, но все еще слышно.

Спасибо, Дуня.

Елена Петровна. Двери закрывайте, Дуняша!

Молчание.

Так вот, Валентин, я про Сережу... *(Почти вскрикивает.)* Прости меня, Валентин, пожалуйста, я так виновата пред тобой! Я недостойна тебя!

Падает на диван и плачет. Молчание. Сторицын проходит по комнате, останавливается за своим креслом и говорит почти беззвучно – точно из далекой дали доносится голос, эхо прежнего голоса.

Сторицын. Ты помнишь, Елена, что десять лет тому назад, – при каких обстоятельствах, я напоминать не буду, – я простил тебя? Ты помнишь?

Елена Петровна. Помню.

Сторицын. И ты поклялась тогда жизнью и счастьем твоих детей, что твоя жизнь будет навсегда чиста и непорочна. Ты помнишь, Елена?

Елена Петровна. Помню.

Сторицын. Что же ты сделала с твоей чистотой, Елена?

Молчание.

Вероятно, я очень скоро умру, и кто будет одним из убийц моих, Елена? И кто убийца наших детей, жизнью которых ты клялась, Елена? И кто убийца всего честного в этом доме, в этой несчастной, страшной жизни? Я тебя спрашиваю, Елена?

Елена Петровна. Прости.

Сторицын. Что с тобою сделалось, Елена? Отчего ты истлела так быстро и так страшно? Я помню тебя еще девушкой, – невестой: тогда ты была чиста, достойна пламенной любви и уважения. Я помню тебя женой в те первые годы: ты жила одною жизнью со мной, ты была чиста, ты, как друг, не раз поддерживала меня в тяжелые минуты. Я до сих пор не могу произнести тебе слова полного осуждения – только за те два года моей ссылки, когда ты, как мужественный друг, как товарищ... Не могу!

Молчание.

Что ты нашла в Саввиче?

Елена Петровна. Не знаю. Он подлец. Прости меня.

Сторицын. А... Так, значит, это правда! Эт правда... А... Вот что... Вот что! Так.

Елена Петровна (*со страхом*). Тебе дать воды?

Сторицын. Нет... Еще сегодня профессор Телемахов упрекнул меня в нечестности или глупости, в том, что я нарочно закрывал глаза... но разве он, разве вы все можете понять, что я честно не хотел видеть и не видел всех гнусностей ваших? Разве вы все можете понять, что я честно отрицал самые факты? Факт! Что такое факт, думал я, со всею иллюзорностью его движений и слов, когда передо мною такой незыблемый камень, как твоя клятва, мое достоинство всей жизни. О дурак, дурак!

Елена Петровна. Не говори так про себя! Ты не смеешь так говорить про себя!

Сторицын. О дурак, дурак! Однажды я ясно видел, как Саввич сжал... под столом твою ногу – и у меня хватило гордости, сумасшедшей силы принять это за обман моего зрения, а не за ваш обман. Пусть, думал я, весь мой дом зашипит по-змеиному, пусть я задохнусь в объятиях гадов – я до конца приму их поцелуй, я перед всем миром буду утверждать, что это люди... пока сами не приползут и не скажут: мы не люди, мы гады. О гнуснецы!.. Значит, все правда. Значит, все, что я отрицал – весь этот мир предательства, гнусности и лжи, – правда? А клятва перед Богом – ложь? Достоинство – ложь? Все правда: и то, что Сергей ворует и продает мои книги...

Елена Петровна. Ты знаешь это?

Сторицын. И то, что кругом все разворовано, и то... и то, что ты... с Саввичем! Еще кто, говори! У нас бывают студенты, трубочисты, полотеры – кого же ты больше любишь, студентов или полотеров? Говори! Чей сын Сережа?..

Елена Петровна. Твой, твой! Клянусь!

Сторицын. И что Бога распяли, тоже правда? Говори: распяли Бога или нет?

Молчание.

Говори.

Елена Петровна. Ты можешь... ты можешь убить меня, но это неправда, что Сережа не твой сын. Клянусь тебе!.. всем святым, что Сережа твой... твой сын! Да, я преступница, но зачем ты оставил меня, не жалел меня, зачем ты...

Сторицын. Я? Яне жалел тебя? Что же ты считаешь жалостью тогда?

Елена Петровна. Да! Ты требовал от меня слишком много, а я не могла, ты никогда не хотел простить моих слабостей... Я не могу быть такой умной, как ты, а ты хотел, чтобы я тоже...

Сторицын. Это неправда, Елена! Вспомни, сколько я говорил с тобой, сколько здоровья, сколько самой свежей силы я истратил на тебя. За эти часы бесконечной работы я мог бы воспитать целое поколение

людей, я мог бы бросить в мир десятки книг... Но разве хоть в одной моей книге я говорю с такой страстью, с таким желанием убедить, с таким напряжением всей моей воли, как я говорил с тобой? Ах, если бы я так писал, как говорю с тобой, когда мне нужно добыть маленький, самый маленький кусочек твоего сердца! Что же осталось от всех моих слов, что ты поняла, Елена?

Елена Петровна. Я не виновата, что не могу понять, как будто я не старалась. Ты страдал, я это знаю, у тебя больное сердце, и я твоя убийца, но ты хоть радовался в жизни, а я? Ты, бывало, читаешь книгу, и я подсматриваю, вижу, как ты от нее счастлив, а я? Пойду, бывало, и сяду на твое место, разверну книгу на той же странице – ну и что же, ничего, ничего! А ты все дальше от меня уходишь, все дальше, пока я совсем не осталась одна. Прежде я говорила на трех языках, а теперь... английский совсем забыла, на немецком едва читать могу... С кем мне говорить, о чем? Саввич подлец, это правда, но только он один жалел меня, понимал, что я тоже человек... К тебе придешь с неприятностями или насчет прислуги, а ты гонишь, я и сама понимаю, что тебе не до того, а Гавриил Гавриилыч... Или в прошлом году, когда Сережа дифтеритом заболел, а у тебя в университете беспорядки, так кто за доктором ездил, парадное кто

ночью в аптеке ломал? Все Гавриил Гавриилыч. А кто теперь первый о твоём здоровье заботится...

Сторицын. Но ты действительно сошла с ума! Саввич, заботившийся о моём здоровье! Опомнись, что ты говоришь, Елена!

Елена Петровна. А если и сошла, то кто виноват? Ты никогда не уважал меня, почему ты прежде, в самом начале, не выгнал Саввича?

Сторицын. Боже мой, опять эта дикая логика. Да! Да! я уважал тебя и поэтому не выгонял, не должен был выгонять.

Елена Петровна. Нет, ты никогда не любил меня! Сколько раз я умоляла тебя: обрати внимание на Сережу, накажи его, а ты что? Ты хотя бы крикнул... а на слова твои никто внимания не обращает. Его розгами надо было...

Сторицын. Это Саввич сказал?

Елена Петровна. Не знаю, кто сказал, мне все равно. Ты в Бога не веришь, а я верю, так подумай, пожалуйста, сообрази, какое мое счастье! Ты умрешь, в рай пойдешь, а я куда? А я куда? Без тебя я, может, была бы счастлива, меня бы уважали, как других женщин уважают, а рядом с тобой чего я стою, разве я сама не понимаю этого?

Сторицын. Зачем же ты клялась?

Елена Петровна. А ты зачем требовал, чтобы я

клялась?

Сторицын. Я не требовал, это неправда!

Елена Петровна. Но ты, все равно, хотел, вот я и клялась. Для тебя же, чтобы тебе легче было, а уж что со мной... *(громко плачет)* до этого тебе никогда дела не было! Никогда!

Сторицын. Но ведь это дважды обман, ты дважды обманула Бога... Елена, Елена! Какими же словами я рассею мрак твоей совести – их нет! Теперь я клянусь: если бы существовало на свете одно такое слово! За одну вспышку света в этой ужасной темноте! Очнись, Елена! Боже мой, как темно, как темно... кажется, я начинаю умирать?..

Елена Петровна. Я дам тебе воды. Тебе нехорошо, Валентин?

Сторицын. Воды? Не надо. О нежный мой палач, целую твою руку...

Быстро подходит и целует руку у Елены Петровны – затем резко отбрасывает руку.

Ты ведь творишь только волю пославшего тебя. Но кто же послал тебя в мир – эту затянутую в корсет даму, с пудрой на свекольном лице, с грудью, которая могла бы вскормить тысячи младенцев, тысячи мучеников и героев, а питает только – Саввича? Кто ты, ужасная? Страшный сон всей моей жизни, или ты действительно живешь, плачешь, сморкаешься, жа-

луешься и ждешь, чтобы я подошел и ударил тебя, как бьет тебя Саввич?

Елена Петровна. Это неправда! Саввич никогда не бил меня! Если бы ты жалел меня так, как он жалеет, то я была бы другой. Я ведь ничего не говорю про твоих курсисток, про девчонок, которых ты...

Сторицын. Что?..

Елена Петровна. Это не я одна, это тебе и Саввич скажет, хоть ты его и презираешь.

Сторицын. Молчать!

Елена Петровна. Ты не смеешь так на меня кричать, я не горничная тебе, я мать твоих детей... Мне все равно, завтра я руки на себя наложу, а ты не смеешь, ты не смеешь – у меня тоже больное сердце, я, может быть, скорее, твоего умру – ты не смеешь на меня кричать! На девчонок твоих кричи, а я мать, я в муках детей твоих рожала, пока ты книги читал. У нас трое детей умерло – кто их хоронил, кто гробики покупал – ты?.. А что мне каждый гробик стоит, ты это знаешь?

Сторицын. Ты не мать, ты развратница!

Елена Петровна. Ты не смеешь так...

Не стучась, входит Саввич.

Саввич. Что за крик, а драки нет? Нехорошо, профессор, нехорошо. Джентльмены, подобные вам, так с женщиной не обращаются.

Елена Петровна. Ты не смеешь на меня кричать!
Сторицын. Вон!

Саввич. Потихе, потихе, любезнейший! Вон я не пойду и вообще не позволю, чтобы в моем присутствии оскорбляли женщину. Если вы желаете объясниться с женой, это дело ваше, семейное, вам никто не мешает, но только для этого надо иметь вежливые формы, а не кричать, как извозчику! Вы – профессор, вам надо уважать свое достоинство.

В раскрытую дверь входит Модест Петровичи, схватившись за голову, садится в кресло.

Сторицын. О, какая наглость, какая наглость! Что же мне делать – ударить вас? Ударить?

Саввич (*выдвигая плечо*). Ну, это еще кто кого, любезнейший... Хотя вы и знаменитый профессор, а оскорблять себя я никому не позволю. Но если хотите... (*делает шаг вперед*) троньте, троньте, вот моя физиономия, не угодно ли?.. Но только что от вас останется, желал бы я знать?

Елена Петровна. Не надо, Бога ради, Гавриил Гаврилыч! Не трогайте его! Он не знает, что он говорит, он не будет...

Саввич. Да ведь мы шутим. Ведь мы шутим, профессор?

Сторицын (*вдруг совершенно спокойно*). И вы думаете, что я вас боюсь?

Саввич. Не знаю-с. Но человек, который левой рукой выжимает два пуда, должен внушать некоторое почтение, это я знаю-с. Мамыкин, пойдика сюда.

Елена Петровна. Не надо Мамыкина, ну, для меня, ну, я прошу, ну, я умоляю, наконец! Ведь это мой позор, я умру от стыда...

Саввич. Нет, отчего же не надо? Пусть посмотрит, как профессора обращаются с женщинами, пусть поучится гуманизму. Это ему и для записной книжки пригодится. Мамыкин! Посмотри.

Мамыкин *(входит, потупившись)*. Ну, чего я там не видал, я лучше уйду.

Саввич. Нет, ты будешь смотреть, раз я тебе говорю! Вот тебе – смотри: знаменитый профессор, талант, цветы и поклонение – тебе подносили когда-нибудь такие букеты, Мамыкин? *(Берет со стола букет, тычет им в нос Мамыкину, потом бросает в угол.)* А с женой обращается, как с кухаркой! Может быть, профессор, вы бы и ударили ее, как меня собирались? Она женщина беззащитная. Попробуйте.

Модест Петрович, шатаясь, ходит по кабинету, закрывает лицо и глаза руками, бормочет.

Модест Петрович. Боже мой, Боже мой, Боже мой!

Елена Петровна. Сядь, Модест! Не надо, Гавриил Гаврилыч, он болен, он не оскорблял меня. Я сама... Я сама...

Модест Петрович. Боже мой, Боже мой, Боже мой!

Сторицын. Елена, я прошу тебя с этими господами уйти.

Саввич. Вот это другой разговор. Видишь, Мамыкин, какой тихонький стал наш профессор. Сейчас он еще «Леночка» скажет... А что, если действительно – и действительно – попросить его об этом: скажет он или нет, как ты думаешь? Хочешь пари на зелененькую, что скажет? Профессор, вам не угодно будет вашей супруге сказать: «Леночка», как вы уже изволили сказать: «Лена»? *(Становится в позу.)* Впрочем, не стоит...

Модест Петрович. Боже мой, Боже мой, Боже мой!

Сторицын. Елена, я еще раз прошу тебя уйти с этими господами, иначе я сам должен буду уйти. И пошли ко мне Сергея.

Елена Петровна. Господи, это еще что, я с ума схожу. Ты его убьешь, я боюсь.

Саввич. И хорошо сделает, между прочим. *(Кричит в открытую дверь.)* Сергей! Сережка! к отцу! Ну, теперь разговор другой, и я прошу вас очистить поле сражения, Елена Петровна. На вежливость я и сам вежлив и не менее всякого лорда уважаю права чужого жилища. Слышишь, Мамыкин? – честью просят. Насмотрелся, дурашка? – Жалко мне твою невинность портить, но что, брат, поделаешь, смотри, учись. Эх,

люди, людишки!

Входит Сергей и останавливается в стороне, смотря на происходящее угрюмо и равнодушно.

Сергей. Что надо, зачем еще звали?

Саввич. А вот с отцом поговоришь, тогда узнаешь, что надо. Каторжник! Идемте, Елена Петровна. А когда, профессор, успокоитесь и придете в норму, я весь к вашим услугам: дуэль так дуэль, если вам захочется этой глупости, а самое лучшее: побеседовать толком и спокойно, как принято у порядочных людей. Адье. Вам что надо, Модест Петрович, что вы трясетесь около меня?

Модест Петрович (*потрясая сжатыми кулаками*). Вы, Гавриил Гавриилыч – негодяй, недостойный человек! Боже мой, Боже мой, что мне ему еще сказать? Негодяй!

Саввич. Что-с? Послушайте-ка, Елена Петровна.

Модест Петрович. Елена, сестра! Как старший брат твой, знавший тебя невинной девочкой...

Сторицын. Оставь, Модест. Иди.

Модест Петрович. Хорошо, Валентин Николаевич! Но он же негодяй, Валентин Николаевич! Что мне еще ему сказать... он смеется.

Саввич (*с глубоким презрением*). Вот дурак. И правда, что не сеют, не жнут, а сами рождаются. (*Свирело.*) Прочь с дороги, мелюзга, задавлю! Ишь ты, ста-

рая каналья, мало сам арестантских щей хлебал, так и других в такую же историю втравить хочешь? Прочь!

Легким толчком выпихивает в дверь Модеста Петровича, бессвязно и настойчиво повторяющего: Боже мой, Боже мой!

Елена Петровна. Я здесь останусь, Гавриил Гавриилыч, я не пойду.

Саввич. Нет, пойдете. Завтра еще успеете наобъясняться, на вас ведь тоже лица нет. Поуспокойтесь, поуспокойтесь, граждане, а потом и делами займитесь. Профессор, до свидания – и вот вам мой бескорыстнейший совет: – не жалейте хулигана. Адье.

***Выходит.** Сторицын и Сергей одни; он в той же позе у двери; в сумраке его лицо кажется то неопределенно-мрачным, то так же неопределенно и странно улыбающимся. Сторицын крупными шагами ходит по кабинету.*

Сторицын. Садись.

Сергей (садясь). Что надо, папа?

Сторицын молча и нетерпеливо машет рукой и продолжает ходить. При свете лицо Сергея угрюмо, но равнодушно, почти скучно. Сторицын круто поворачивается и садится на свое место у стола.

Сторицын. Я несколько раз замечал, Сергей, что от тебя пахнет водкой. Ты пьешь? От тебя и сегодня пахнет водкой.

Сергей. Позволь, папа. Сегодня воскресенье, у меня были товарищи, и просто, как хозяин... я не понимаю, что здесь такого, чтобы устраивать истории. И вообще, ты можешь быть совершенно спокоен, папа, я никогда не позволю себе напиваться, у меня есть характер. Вообще, я веду себя прилично. Я возьму папиросу.

Протягивает руку к коробке с папиросами, но Сторицын, вспыхнув, с силой бьет его по руке. Сергей встает.

Что это такое! Ты с ума сошел!

Сторицын. Не смей!.. вор! Закрой дверь на ключ и ключ дай сюда.

Сергей. Но это же глупо! Ты же не собираешься... Бог знает, что тут у вас!.. И мне все равно, наконец!

Сторицын. Садись.

Сергей садится на то же место и смотрит в потолок. Сторицын сам закрывает дверь и ключ прячет в карман.

Ты давно воруеть мои книги, Сергей?

Сергей (вставая). Это он тебе донес?..

Сторицын. Сядь. *(Утомленно.)* Ты понимаешь, что такое книга, Сергей? Я часто говорил тебе о книге, учил любить и уважать ее. Еще маленького, показывая картинки, я учил тебя осторожно повертывать страницы, мыть руки, чтобы не пачкать. Ты видел, как

я сам люблю книгу, как я дорожу ею, как я радуюсь каждой новой книге в моей библиотеке... Пусть ты сам не любишь и не понимаешь, но ты же видел мое отношение... и ты в самом дорогом грабил меня, Сергей. Я понял бы тебя, воруй ты деньги, но книги! Продать чью-то душу, чтобы выручить двугривенный, тридцать серебряников... Это поступок Иуды, Сергей.

Сергей. Я не Иуда.

Сторицын. Да, ты не Иуда, ты моя плоть и кровь, мой родной сын... Но где же я во всем этом? Постой, постой, я как будто первый раз вижу твое лицо... сиди, сиди, не конфузься. Значит, это плоское, прижатое, сжатое в висках – твой лоб, лоб моего сына? Странно! И откуда у тебя эта низкая, звериная челюсть... вероятно, ты можешь перегрызть очень толстые кости, да?

Сергей. Мне все равно.

Сторицын. И откуда эти молодые, но уже тусклые и угрюмые – какие угрюмые глаза! И, вместе с тем, этот проборчик на лбу... интересный проборчик. И эти странные, дешевые духи... да, да, молодость. Ты очень угрюмый человек, Сергей, я никогда не слышал твоего смеха.

Сергей. Мне не с чего радоваться. Иуды не радуются.

Сторицын. Да, да. Странно! Поговорим просто,

Сергей: я очень устал кричать и волноваться, забудь, как и я, что я твой отец... Ну, расскажи мне, расскажи про себя... На что ты тратишь деньги?

Сергей. Я не Иуда. Я не виноват, что у меня нет способностей. Не всем же быть профессорами, как ты. Но если же у меня нет способностей, тогда что?

Сторицын. Так, так. Как же ты думаешь жить?

Сергей. А я почему знаю?

Сторицын. Но ведь жить надо?

Сергей. Так и буду. Ты, папа, ошибаешься, что я легкомысленный человек, пьяница.

Сторицын. Возьми папиросу.

Сергей. Спасибо. Я человек положительный, у меня волосы становятся дыбом, как я подумаю про будущее. Женюсь же и я когда-нибудь, я человек положительный, пойдут дети, а как я их буду кормить? У других родители помогают или протекция, а у меня что? Тебе легко говорить, папа, а вот умрешь если, все мы по миру пойдём, как нищие...

Сторицын. Моя жизнь застрахована, если я не ошибаюсь.

Сергей *(усмехаясь)*. Десять-то тысяч? Не смейся, папа.

Сторицын. Да, это маловато.

Сергей *(усмехаясь)*. Одному Саввичу не хватит! А нас двое, я да Володька. Володьку тоже пожалуй на-

до. Вот ты и пойми! Живем мы богато, люди завидуют, а я полгода маму прошу балалайку купить да не допрошусь. Копить мне не с чего, я жалованья не получаю.

Сторицын. А копить надо?

Сергей. Копить каждому человеку надо. В жизни нужен характер, папа, без характера под забором умрешь. Наш Саввич подлец, я его насквозь вижу, он боится, что к нему ночью воры заберутся и зарежут его, а смотри, какой у него характер! Я еще папиросу возьму, можно?

Сторицын. Пожалуйста. Значит, и книги ты продавал...

Сергей (*закуривая*). Ну, уж если на откровенность пошло, так я эти книги ненавижу! Тебе приятно на них смотреть, а я их видеть не могу, в дом войти противно. Ах, книжечки, ах, деточки... читай, Сережка-дурак! А если я не хочу читать, не хочу быть умным, да. Не хочу! Ты умный, а я дурак, и пусть такой и буду, и это мое право, и никто не смеет меня переделывать, раз я не хочу. Вот и все! Иуда...

Сторицын. Тише, Сергей. Это твой принцип?

Сергей. Да, принцип. И что такое дурак? Для других дурак, а для себя достаточно умен и умнее быть не желаю. Вот и все. Иуда... Чем я виноват, что у меня папаша профессор, а меня скоро со света сживут.

И в гимназии, и эта скотина Саввич: Мамыкин, пойди сюда, посмотри, какой у профессора сын дурак. Ну и дурак, не хочу быть умным... Вот и все. У меня тоже характер есть.

Сторицын. А честным хочешь быть?

Сергей. Захочу – буду, а не захочу, так не буду. Лоб низкий, проборчик... Эх, папа!

Сторицын. Странно, странно...

Тревожно ходит по комнате.

Ты ужасный, ты невероятный человек, Сергей! Ты одним движением вот этого лба опустил меня в такую глубину, в такой преисподний мрак... Я удивляюсь, что ты еще не ударил меня.

Сергей. Это Саввич говорит, что я каторжник. Охота тебе повторять.

Сторицын. Это надо сделать. Ты человек запасливый, у тебя наверно есть водка, – принеси, Сергей.

Сергей. Пить будешь? Тебе вредно. И зачем это, папа? Ничего ведь не переделаешь, а только болен будешь. Лег бы лучше, ей-Богу.

Сторицын. Да что я с тобой – стесняться буду? Теперь?.. Живо, слышишь?..

Сергей. Слышу, мне все равно. Дверь заперта.

Сторицын. Возьми.

Сергей выходит. Сторицын быстро шагает по комнате, бросая отрывисто и громко:

А! Профессор Сторицын! Красота и нетленное! Му-
ченик и страдалец! Чистота и незапятнанность, да? А
низкий лоб не хочешь? А приборчик не хочешь? А ду-
хи не хочешь?

Елена Петровна (*с порога*). Клянусь Богом, Вален-
тин, если ты будешь пить, я в окно брошусь, я за Сав-
вичем пошлю! Ты не имеешь права так издеваться
над нами!

Сторицын. Уйди!

Елена Петровна (*падая на колени*). Я на коленях
прошу. Модест, брат!

Модест Петрович (*плача*). Можно мне войти, Ва-
лентин?

Сторицын. Нет, нет. Уходите.

Елена Петровна (*вставая покорно, дрожа*). Хоро-
шо. Но только помни, Валентин, что я... я твоих детей
хоронила.

Сергей. Ну иди, иди, мама!.. Теперь уже нечего. Дя-
дя Модест, возьми же ее. Ну?

Сергей затворяет дверь и ключ кладет на стол.

Вот коньяк, только много не пей. Закусывать, навер-
но, не будешь, а то я достану.

Сторицын. Нет. Почему одна рюмка? Ты будешь
пить со мною.

Сергей (*угрюмо*). Нет.

Сторицын. Не станешь?

Сергей. Нет.

Сторицын (*пытаясь засмеяться*). Что ж, пожалуй, ты и прав. Что это, рюмка? Нет, брат, оставь. Вот это будет (*выплескивая из стакана остатки чая*) моя, как это говорится, посудина. Видишь, немного ума никогда не мешает.

Сергей. Так скоро напьешься с непривычки.

Сторицын. За твой принцип! Я не шучу. (*Пьет и кашляет.*) Так. Я не шучу! Вообрази, что мне мой ум тоже стал... вдруг отвратителен, и я не хочу его. Почему этому не быть? За дураков и профессора Сторицына! Наливай!

Сергей (*наливая*). Мне все равно.

Сторицын (*пьет*). Нет, не все равно. Завтра всем расскажи в гимназии, что твой отец был пьян. Слабый коньяк! Расскажи.

Сергей (*становясь все угрюмее*). Зачем же я буду рассказывать?

Сторицын. Эх, жаль, что твои балалайки ушли! (*Садится и смеется.*) Сережа, а коньяк-то действует?.. Странно. Налей-ка еще, Сережа, завтра я куплю тебе балалайку.

Сергей. Не надо мне балалайки. Спать бы ложился, папа.

Сторицын (*наливает и пьет*). Надо! Милый ты мой Сережа, бедный ты мой мальчик... (*Опускает*

голову и задумывается, Сергей молча смотрит на него.) Что?

Сергей. Ничего. Спать иди.

Сторицын. Оставь! Сережа, мальчик, скажи, ты, наверное, влюблен в кого-нибудь, а?

Сергей. Да, как водится.

Сторицын. Да?

Сергей. Да.

Сторицын. Но какой я!.. конечно, конечно. Я уже и забыл совсем, что ты мальчик...

Сергей. Ну, не совсем.

Сторицын. И что ты теперь как раз переживаешь ту пору, когда расцветают цветы. Налей. Я сегодня всю дорогу вез цветы, а их бросили в угол. Кому мешают цветы? Кто может ненавидеть цветы так, чтобы бросить их в темный угол? Мои цветы.

Сергей. Папа, кто эта княжна, которая бывает у нас? Гордая очень.

Сторицын (*машет рукой*). Не надо. (*Пьет.*) Вздор! Почему у меня не завешены окна сегодня? Странно. Я их сам завесил. Теперь мне кажется, что вся улица смотрит на меня... Ну – смотри! Что? Хорош? Ага!

Сергей. Завесить, папа? Я завешу.

Сторицын. Вздор! (*Наклоняясь к сыну.*) Так кто же она, Сережа, говори. Гимназистка?

Сергей. В этом роде.

Сторицын. Цветы, цветы... Ну и как, Сережа, ты счастлив, скажи. Ах, брат, я так хочу, чтобы ты хоть немного был счастлив, бедный ты мой мальчик. Забудь ужасы этого дома, скажи мне как другу, что ты хоть немного узнал это... это... *(Нежно и мечтательно улыбаясь.)* Понимаешь? Фу, я пьян.

Сергей. Мы с нею живем, папа.

Сторицын. Что-о?

Сергей. Не беспокойся, мы принимаем меры. Не пей больше, это глупо. На тебя противно смотреть! Зачем ты мне делаешь такое лицо? Ты не смеешь делать такое лицо, я маму позову.

Сторицын перестает смотреть на сына и смеется, пьяно грозя пальцем.

Не умеешь пить, так не надо, никто не просит. Я маму позову.

Сторицын. Сережа? А что, если мы поедем с тобой туда? Понимаешь – куда все ездят? А? Вот будет штука капитана Кука. Откуда это: штука капитана Кука? Сергей! Я требую! Приобщи меня к твоему ничтожеству, к великой грязи мира сего... Унизь меня, Сергей, унизь.

Сергей. Оставь, пожалуйста, надоело. Ты пьян!

Сторицын. А я требую! Вези меня, куда сам знаешь. Свали меня на площадь, как падаль, грязный мусор... улыбка божества! Городовой, в участок профес-

сора... как его... Сторицына!.. Ага! Давай руку, Сережка.

Сергей. Убирайся от меня. Ты пьян. У, как напился, противный!

Сторицын. К дьяволу на рога его, Сторицына!.. болтуна!.. красавца! На колени, Сторицын, перед низким лбом, а иначе... *(Вдруг страшно бледнеет и хватается за грудь, прежним голосом.)* Постой!.. Сердце! Воды!

Падает в кресло, хрипя.

Сергей *(не смея подойти)*. Папа! Ты пьян. Папа! Встань!

В двери отчаянный стук и голоса.

Занавес

Действие четвертое

У профессора Телемахова вечером следующего дня, то есть в понедельник. Часов около одиннадцати; на дворе дождь и сильный ветер. Кабинет-приемная Телемахова. Судя по крупным размерам комнаты, по тяжелым пропорциям дверей и окон – квартира находится в одном из казенных зданий. Потолок белый, почти без орнамента; обои светлые, мебель темная. Два дивана и кресла обтянуты дешевой кожей или клеенкой под кожу. Книг много, но обилие их не так заметно, как у Сторицына, благодаря строгому порядку. Несколько физических приборов, небольшая электрическая машина. Полное отсутствие чего-либо, предназначенного для украшения или хотя бы для смягчения прямых, тяжелых и четких линий. Окна, выходящие в сад или на пустырь, не завешены; в одном открыта большая форточка. Кроме лампы на столе, горят еще две лампочки, одна висячая, обе с белыми колпачками.

Телемахов что-то читает, но либо чтение дается с трудом, либо мешают мысли: часто подергивает себя за бородку, ворошит короткие с проседью военные волосы. Уже сильно нетрезв, но продолжает пить красное вино. Форменная серая тужурка по-

лурасстегнута. На кожаном диване, лицом к Телемахову, лежит Володя, следит, как он читает, как пьет вино, как ворошит волосы. При сильных порывах ветра оба поворачиваются к окнам и прислушиваются. В крепости изредка стреляет пушка, предупреждая о наводнении.

Володя (*нарушая молчание*). Ветер какой сильный. Теперь нехорошее время для полетов, голову можно сломать и машину попортить. Вчера барометр стоял перемененно, а нынче спустился ниже бури. Как это может быть, чтобы ниже бури? – смешно! Прокопий Евсеич, вы смотрели нынче барометр?

Телемахов (*мычит*). Угу. Не мешай, Володя. Прокопий Евсеич, будет сегодня наводнение или нет? Пушка стреляет.

Оба прислушиваются.

Телемахов. Не слышу. Я глуховат становлюсь. Ты что, мешать мне пришел? Лежишь, так лежи, авиатор тоже!

Молчание.

Володя. Прокопий Евсеич, а что у нас дома делается, вы не знаете?

Телемахов (*сердито*). Тебе говорить хочется?

Володя. Да.

Телемахов. А мне нет. Не знаю, что у вас дома делается. Не знаю, и знать не желаю.

Володя. Я говорил по телефону из булочной, да у них трубка снята. Ничего не слышно.

Телемахов. А как чавкают – не слышно? Володя. Почему чавкают? Телемахов. Твоего папахена жрут. Не слышно? Так и молчи.

Молчание.

Володя. Прокопий Евсеич, вы профессор?

Телемахов. Профессор.

Володя. И генерал?

Телемахов. И генерал. Дальше что?

Володя. Зачем же вы напиваетесь? Вы каждый вечер так напиваетесь?

Телемахов. А ты зачем летаешь?

Володя. Так я для пользы, смешно.

Телемахов. Ну и я для пользы. Что же, ты решил так и не давать мне читать? Кто же из нас к кому пришел: я к тебе или ты ко мне? Гость!

Володя. А вы бросьте читать, успеете. Давайте поговорим. Ветер такой сильный.

Телемахов. Ты у меня каждый вечер бока пролеживаешь, так я каждый вечер и буду с тобой разговаривать? И о чем я с тобой, телелюем, говорить буду, ты об этом подумал? Голова!

Володя. Мало ли о чем. Прокопий Евсеич, а вам не скучно всегда одному быть? Ни товарищей у вас, ни друзей, один денщик, да и тот на кухне спит. Оттого

вы и пьете, что один.

Телемахов (*хмыкая*). Оттого?

Володя. А то отчего же? На вашем месте и корова запьет.

Телемахов. Корова? А ты видал, чтобы коровы пили?

Володя. Медведи пьют.

Телемахов. Медведи? Какой мыслитель, а! Медведи! Ничего в жизни не понимает, еще мычать толком не научился, теленок, а тоже в рассуждение лезет. Оттого что, потому что... Ты, Володя, мыслитель, да? Ну, а я мыслетель. (*Долго смеется.*) От слова: мыслете, понимаешь? Мыслетель, хе-хе, русский мыслетель.

Володя. Я о папахене беспокоюсь, сегодня у меня Сережка был, такие чудеса рассказывал... (*Внезапно громко всхлипывает и оборачивается лицом к стене*). Сожрут они папахена, как вы думаете? Сами говорите, что чавкают.

Телемахов. Что, как баба... Перестань! Когда у человека бас, как у протодьякона, ему реветь поздно. Раньше бы ревел! Ты зачем из дома ушел, ты зачем одного его оставил?

Володя. Смотреть не мог. (*Не оборачиваясь.*) Я, Про-копий Евсеич, Саввича убью. Честное слово.

Телемахов. Ага! Саввича убью. Додумался! А о чем же ты раньше мыслил, мыслитель?

Володя. Я папахену верил, что он человек не плохой. Теперь у меня своя голова есть.

Телемахов. Своя голова есть? А твоему папахену можно верить, когда он человека хвалит, твой папахен что-нибудь в людях понимает, а? Ну, ну, ободришь. Это хорошо, когда своя голова есть, я тоже когда-то, брат Володя, был достаточно глуп – больше чем надо! Ты что-нибудь про мою жену слыхал? Дрянь баба, пигалица, птичьи мозги, только и любит, что духи и мыло. Еще массаж любит, думает, что вся наука и медицина состоит из массажа лица! Кажется, в надежде на бесплатный массаж и за меня вышла. Она вышла, а я ей пятнадцать лет сто рублей каждый месяц высылаю, каждый месяц первого числа – это как, твоему, мыслитель? Ну и, по-моему, так же! *(Кричит.)* Геннадий!.. *(Звонит.)* Драть меня надо за это, драть, драть, как Сидорову козу! Я себя презирать стал за эти сто рублей, я каждый месяц не перевод на сто рублей пишу, а сто розог себе пишу, розог, розог!..

Постучавшись, входит денщик Геннадий.

Дрыхнешь? Тебе звонят, а ты носом свистишь? Переменить.

Геннадий. Никак нет, ваше превосходительство.

Телемахов. Переменить!

Геннадий. Есть, ваше превосходительство.

Во все время, пока денщик проходит по комнате,

принося вино, Телемахов через очки молча и сердито следит за ним.

Телемахов *(наливая вино)*. Так-то, мыслитель. Сознательный человек, а на трудовые деньги паразита содержу, каждый месяц сто рублей паразиту в зубы. пожалуйста! А паразит: благодарю вас, господин Телемахов, не будет ли еще? И будет еще, будет, будет!.. *(Машет рукой перед горлом.)* Горло готов перерезать бритвой, только не посылать этой... пигалице!

Молчание. *Порыв ветра и звук отдаленного выстрела. Телемахов смотрит на форточку и сердито палкой захлопывает ее.*

Володя *(вздыхая)*. Убью.

Сильный звонок. Телемахов останавливается. Володя быстро садится; оба слушают.

Это от нас.

Телемахов. Погоди еще, не все от вас, бывают и больные.

Входит Геннадий.

Геннадий. Ваше превосходительство, к вам господин Сторицын просются, в передней стоят.

Телемахов делает несколько шагов вперед, но уже входит Сторицын, одетый в пальто и шляпе. Совершенно мок от дождя, ботинки без калош, грязны, брюки внизу также.

Сторицын. Я к тебе, Телемахов. Извини, что вры-

ваюсь ночью, сейчас, кажется, очень поздно... Можно?

Телемахов. Я рад, я от души рад... Геннадий, раздеть.

Сторицын. Да, пожалуйста... Геннадий, я уж в переднюю не пойду. И горячего чаю, Геннадий, если не поздно, я озяб.

Телемахов. Чаю! Вина еще!

Сторицын. Вас зовут Геннадий? Спасибо. Нет, ноги обтирать не надо, это ничего... Ужасный дождь! Это ты, Володя? Здравствуй. Как ты сюда попал, ты же не тут живешь?

Володя. Я в гостях, папахен.

Сторицын. Очень рад. Вероятно, будет наводнение; сейчас я шел по Неве, там такая темень... Поймай, Телемаша, разве близко от твоей квартиры есть Нева?

Телемахов. Есть. Садись, милый, сейчас будет чай.

Сторицын. Конечно, есть. Но, представь, я вдруг забыл адрес, ходил, ходил... и извозчика взять нельзя, куда же он поедет? Раз пушка выстрелила у меня под самым ухом... К тебе можно, Телемахов? Я должен тебе сказать, что я совсем ушел из дому.

Телемахов. Очень рад!.. Давно пора!..

Сторицын. Да, да, давно пора. Сегодня, Телема-

ша, был ужасный день, сто двадцать верст в длину... Володя, ты не ушел бы домой? Я очень рад, но сейчас мне трудно видеть тебя... Какой ты высокий стал, Володя! Поцелуй меня и иди.

Телемахов (*решительно*). Он тут ночует. Иди в спальню, Володя.

Берет его под руку и ведет, говоря что-то и смотря на него поверх очков. Сторицын смотрит сперва в черное окно, потом на стол. Телемахов возвращается, решительно потирая руки.

Сторицын. Красное винцо потягиваешь, Телемаша?

Телемахов. Да. Поесть не хочешь? – надо поесть.

Сторицын. Нет, я что-то ел. Мы обедали сегодня. Телемахов! – я должен сказать тебе, что я ушел из дому навсегда.

Телемахов. Да, да, слышал, брат. Давно пора!.. Поздравляю.

Сторицын. Телемаша, у тебя есть в доме револьвер? Понимаешь, в моем доме не оказалось нигде револьвера... покажи мне эту штуку, я бы посмотрел. Но почему я мог знать, что в моем доме нужна эта штука капитана Кука... Фу, вздор какой я говорю. Я шучу, Телемаша. И я озяб, трясет немного.

Телемахов (*яростно*). Геннадий!

Сторицын. Не надо, он сейчас, еще не готово. С

удовольствием выпью чаю. Невероятнейший дождь. И на Неве такая темень... Как все-таки странно, что Нева близко от тебя!

Телемахов. Дай руку, Валентин.

Сторицын. Зачем? *(Отдергивает руку.)* Ах, пульс! Не надо ничего этого, Христа ради, не надо. Когда меня теперь спрашивают о здоровье или трогают пульс, мне кажется, что меня собираются вешать и боятся, что я уже умер. Я здоров.

Телемахов. Ты бредишь!

Сторицын. Может быть, но ты не сердись. И я попрошу тебя, Телемаша: если сюда приедет он, то, пожалуйста, не пускай его, я больше не могу.

Телемахов. Кто это он? Саввич?

Сторицын. Да.

Телемахов. Не пускать? А может быть, пустить? Может быть, взять его за белую ручку и сказать: пожалуйста, господин Саввич!

Сторицын. Нет, нет! Я не могу.

Телемахов открывает дверь в спальню и кричит.

Телемахов. Володя, сюда собирается прибыть господин Саввич, и отец просит не пускать его... ты можешь это или нет?

Володя *(медленно и по звуку голоса лениво)*. Могу.

Телемахов со стуком хлопывает дверь. Геннадий приносит чай. Сторицын благодарит и с жадно-

стью пьет. Телемахов, начиная фыркать все сильнее, ходит по комнате, каждый раз искоса и сердито взглядывая на Сторицына. Смеется.

Сторицын. Горячо. Как у вас уютно. Ты что смеешься, Телемаша?

Телемахов. Смеюсь оттого, что смеюсь. Или, может быть, ты запретишь смеяться? Тогда извини – не могу. *(Перестает смеяться.)* Смеюсь!

Сторицын. Надо мною?

Телемахов. Не знаю. И никто не смеет запретить мне смеяться. Смеюсь, и кончено! А кому не угоден мой смех, тех прошу не слушать. Да!

Сторицын *(с трудом соображая)*. Может быть, мне уйти?

Телемахов *(останавливаясь и яростно смотря на Сторицына)*. Глупо! Было с трех сторон глупо, а теперь со всех четырех глупо. Геннадий! Еще чаю!

Быстро входит Геннадий.

Если ты мне попробуешь задряхнуть, я тебя... скотина! Еще чаю!

Сторицын. За что ты его?

Телемахов. Я его за что, – а ты меня за что?.. Поставь, болван... Я его болван, а ты за что меня по роже? Когда профессора Сторицына выгоняют из дому, то это по чьей роже удар, позвольте вас спросить? По Саввичевой? Да? Нет-с, по моей. И кончено. По моей,

и кончено! Смеялся, и буду смеяться, и никто мне не запретит, да! Никто!..

Сторицын (*неволью улыбаясь, медленно*). Да постой, Телемаша... ты меня обвиняешь? По-твоему, я виноват?

Телемахов. Не знаю, кто виноват. Но только я не дам бить себя по роже никому! Не позволю! Пусть это будет даже господин Сторицын с его благороднейшей дланью. И кончено.

Сторицын (*серьезно*). Не кричи, Телемахов, я устал от крика. Ты думаешь, что я виноват? Но ты же знаешь, что я поистине, по чести сеял только доброе...

Телемахов. Да? Только? А пришел воробей и съел?

Сторицын. Мне так печально, что ты... Телемаша, старый друг! Они же ничего не понимают, а я их понимаю, ну и в этом все. И они могут меня бить, что ли, вообще по-ихнему, а я их не могу, и не должен, раз понимаю... Постой, не кричи! В голове у меня шумит, и мне трудно. Телемахов! Я совершил ужасное открытие. Я был пьян вчера, что-то со мной было, но не в этом дело. Телемахов!.. Я видел вчера моего сына, Сергея... так называемого Сережку. Ты смеешься? Не надо, не смейся.

Телемахов (*стараясь спокойно*). Могу и серьезно,

отчего же? Когда профессора Сторицына выгоняют из дому, то можно поговорить и серьезно, сделайте милость. Уже давно, Валентин Николаевич, много лет тому назад я отошел – вполне сознательно отошел от твоей жизни и сказал себе: живи как хочешь, а я, как Пилат, умываю руки. Когда же (грозя пальцем) ты приедешь ко мне вот в такую ночь, я тогда тебе все скажу, все припомню, молчать уж не стану. Кто же, по-вашему, господин Сторицын, спрашиваю вас, вот в эту ночь расчета, кто же, по-вашему, люди – братья милейшие, ангелы без крыльев, хоть и в запятнанных, но все же в белых одеждах, – или же волки? Кто? Скажи, ты, выгнанный из дому, одинокий, несчастный человек... остатки человека!

Сторицын (*вставая*). Ты сам одинок и несчастен. Мне жаль тебя.

Телемахов. Прошу без жалости! Да, да, пусть я одинокая старая собака, но у меня есть логово, у меня есть дом – видишь? (*Обводит рукой.*) В конце концов, кто же к кому пришел: я к тебе или ты ко мне? Конечно, ты всю жизнь живешь в мире идеальных существ, ты просто не желаешь опустить взоры на землю – ну, а я реалист, я биолог и реалист! И я не желаю знать твоих нереальных драгоценностей. Летайте в небесах, а я твердо держусь за землю и не выпущу ее, и знаю, что мы, профессора Телемаховы и Сто-

рицыны – одиночки в эту ночь, среди волчьей стаи. И пусть тебя жрут, а я не хочу быть жратвом, я их огнем, головешкой! Да!

Сторицын. Ложь, Телемахов! Сторицына нет, он призрак и обман. Телемахов, подумай! У моего сына Сергея низкий лоб.

Телемахов. Низкий лоб? Да? Отчего же он низкий? Низкий! *(Яростно.)* Так стрелять в низкий лоб, стрелять, стрелять!

Сторицын *(громко)*. Замолчи!

Телемахов. Нет, не замолчу. Я приобрел право говорить и не в эту же ночь я буду молчать. *(Передразнивая.)* Геннадий, голубчик, пожалуйста... Я двадцать лет учился кричать Геннадию: болван! И научился! Я двадцать лет отучал себя от жалости, душу вывернул наизнанку, кровавую ванну взял на востоке – и научился! А теперь приходит ко мне выгнанный из дому профессор Сторицын и деликатнейшей своей дланью бьет меня по роже. *(Передразнивая.)* Я ко всем благоволю, я презираю твой кулак, Телемахов, но почему же ты не заступился за меня, дал Саввичу слопать мою деликатнейшую душу?

Сторицын. Неправда! Мне не нужна твоя защита. Я странник, попросивший ночлега, бездомный бродяга, которому идти...

Телемахов *(подходя близко, наклоня голову и*

смотря прямо в глаза Сторицыну). Защиты не надо? Хе-хе. А Саввич? А кто сегодня искал револьвер – но разве в доме профессора Сторицына есть эта штука капитана Кука? А у меня есть! Есть и всегда будет! Нетленное!.. Ну, есть, и молчи, не болтай, не таскай по улицам, не корми животных... твоим нетленным. Вот оно где у меня сидит... *(бьет себя в грудь)* и молчу. И слова не скажу, умирать буду, так в рот себе земли набью, чтоб как-нибудь не сболтнул язык. Мое оно! Пусть же профессора Сторицыны болтают, – а я буду стрелять, да! Низкий лоб – так стрелять в низкий лоб! Стрелять, стрелять! Вешать!

Сторицын. Я уйду. Я ни минуты не останусь в доме, где так прозвучало это слово.

Делает шаг к двери.

Телемахов *(как бы пригвозждая его указательным пальцем).* Уходишь? Иди, иди. А куда ты пойдешь?

В дверь выглядывает испуганный Володя.

Сторицын. Я иду. Прощай.

Телемахов. До свидания. Геннадий, проводить! А куда ты пойдешь? У тебя нет дороги!

Сторицын. Куда? *(Поднимая руки.)* Есть же хоть один слушатель, который слышал меня. К нему!

Идет к двери, но громкий звонок останавливает его.

Телемахов. Геннадий, погоди. Володя, в перед-

нюю, сам открой.

Володя. Хорошо.

Довольно быстро проходит. Телемахов приближается к Сторицыну и говорит, стоя к нему боком и не глядя.

Телемахов. Прошу извинить меня. Я немного пьян сегодня и – вспылал! Оставайся здесь, я прошу тебя. А если мое присутствие тебе неприятно, то у меня сегодня есть дело в больнице.

Сторицын *(качая головой)*. Нет. Я иду.

Телемахов. Ну, извини старую собаку. Если ты сегодня позволишь себе уйти от меня, то я – тоже уйду, минуты здесь не останусь! К черту!

Володя *(входит)*. Я отворил, они раздеваются. Это дядя Модест с княжной.

Телемахов. А! Княжна! *(Застегивая тужурку и оправляясь, идет навстречу.)* Очень рад!

Входит княжна и Модест Петрович: их церемонно, но очень приветливо встречает Телемахов, подолгу трясая и задерживая руку и повторяя: «Очень рад! Очень рад!» Княжна в вечернем туалете, как будто привезена из гостей или из театра; взволнована, но сдерживается. Сдерживается и Модест Петрович, видимо, расстроенный, очень много переживший, но теперь сияющий от радости. В первую минуту ни он, ни княжна как будто не обра-

цают внимания на Сторицына, здороваются с ним последним.

Телемахов *(стараясь вторично застегнуть пуговицы).* Милости просим. Княжна, прошу вас садиться! Модест Петрович, прошу вас. Володя, садись. Ты что же не сядешь, Валентин Николаевич? Геннадий, вина! Виноват: не прикажете ли чаю и фруктов? Геннадий! Чаю и фруктов.

Всесадытса. *Денщик говорит что-то вполголо-са, потом громко.*

Геннадий. Фруктов нет, ваше превосходительство.

Телемахов *(сдерживаясь, яростно смотрит на него, кричит).* Чаю! *(Тише).* Сервиз достань, знаешь?

Геннадий. Так точно, ваше превосходительство.

Людмила Павловна. Не беспокойтесь, пожалуйста... Прокопий...

Телемахов. Прокопий Евсеевич. Помилуйте, какое же беспокойство. Я очень рад! Володя, подай, пожалуйста, папахену папироску.

Сторицын. Спасибо, у меня есть.

Телемахов садится и молчит. Сторицын улыбается.

Откуда вы, княжна?

Людмила Павловна. Из театра. Я с мамой и братьями была в театре.

Сторицын. Кончилось уже?

Людмила Павловна. Да, почти. Но какая страшная Нева! Мы ехали с Модестом Петровичем через мост...

Модест Петрович (*улыбаясь*). Не промочили ноги, Людмила Павловна?

Людмила Павловна (*также улыбаясь*). Немного. А вы? Мы с ним долго тли по какому-то двору, и он все боялся, что я ноги промочу. Валентин Николаевич, вы знаете новость? – Я из дому ушла совсем.

Сторицын (*улыбаясь*). Когда же? Не знаю.

Людмила Павловна. Сегодня. Я уже не вернусь домой. Вы одобряете мой поступок... (*вдруг пугается и заканчивает*) профессор?

Молчание. *Телемахов, увидев в двери Геннадия с подносом, яростно машет ему рукой и шипит: «Назад!»*

Людмила Павловна (*смущаясь все больше и почти плача*). Вы молчите? Но я уже давно стала думать, я еще только начала думать, но я понимаю, я так хорошо понимаю. И если... вы не одобрите моего поступка, то я совершенно не знаю, что мне делать.

Модест Петрович (*вставая*). Валентин! Валентин Николаевич! Клянусь Богом, за этот день я второй раз поседел, Валентин Николаевич! И если я еще жив и не бросился в воду, то это она, она! Я так и решил, клянусь Богом, что или с нею, или... Меня в театр не пускали без билета, я скандалить начал, и вдруг она

идет по коридору, я ее не узнал, а она узнала меня... Там такой скандал был, Валентин Николаевич, что если ты не одобришь... твоим авторитетным словом... Там мама ее и братья и такой, брат, скандалище!..

Людмила Павловна. Оставьте, Модест Петрович. Пойдите, пойдите отсюда.

Модест Петрович. Голубчик ты мой! Ведь это счастье, ведь это жизнь к нам пришла! Ведь я работать решил: пусть валяются, пусть валяются, а я... Я тебя уважаю, но ты... на колени пасть... на колени... Ура!

Телемахов. Глупо, Модест Петрович! Прошу вас в столовую, Модест Петрович, закусить, чем Бог послал... рюмочку водки... Геннадий!.. Володя, прошу.

Модест Петрович. Ну и пусть глупо... И водки выпью и скандалить...

Телемахов. Глупо! Прошу, прошу...

Уводит за собой Модеста Петровича и Володю, закрывая дверь. Сторицын и княжна одни.

Сторицын. Он правду сказал? Простите меня, Людмила Павловна, но сегодня у меня такой длинный день – как целая жизнь, и я немного сошел с ума. Я не понимаю. Он правду сказал?

Людмила Павловна. Правду. А что? Там я не боялась, а теперь боюсь. Да, я ушла из дому навсегда. Но не для вас ушла, вы не думайте, я давно хотела.

Сторицын. Значит, ни у меня нет дома, ни у вас?

Людмила Павловна. Да.

Сторицын. Какой свет! Да, я понимаю теперь. Мы ушли из дому, и ни у тебя нет дома, ни у меня. Я понимаю теперь. Мы очень долго и напрасно притворялись – я профессором Сторицыным, а ты какой-то княжной, и это оказался вздор. Ты – не княжна, ты – девочка в рваном пальто. Слышишь?

Людмила Павловна. Да.

Сторицын. И наш дом, твой и мой – весь мир. Закрой глаза и посмотри, как широко – весь мир! Оттого и ветер сегодня – ты слышишь? – что мы ушли из дома, из маленького дома. И река выходит из берегов... слышишь? – это волны. Тебе не холодна, девочка?

Людмила Павловна. Нет. *(Вспыхнув.)* Мне стыдно, что я так одета!

Сторицын. Ты вся горишь, как солнце! Но ты понимаешь, ты понимаешь, девочка, какой неслыханный ужас: он взял твои цветы и бросил их в угол. Бросил твои цветы! Тогда мне впервые показалось, что я сошел с ума, и я оставил их там. Так и оставил, там они и лежат, девочка. Мне бы идти с ними по улицам, мне бы в реку с ними броситься... глупая, старая Офелия!

Людмила Павловна. Поедемте к Модесту Петровичу. Мне становится страшно, когда я подумаю, как вы устали. Там будут люди, которые любят вас. С нами поедет Володя.

Сторицын. Да, поедем, он хороший человек, и мне надо очень, очень много спать, я устал. А завтра я пойду дальше, мне надо идти.

Людмила Павловна (*тихо плача*). Мне можно с вами? Я буду сестрой, дочерью вашей, если хотите. Я знаю, что вы меня не любите.

Сторицын. Нет, люблю. Ты слышишь, какой ветер? Это вечный ветер изгнанников, тех, кто оставил маленький дом и среди ночи идет в большой, возвращается на родину. Его слышат только изгнанники, он веет только над их головою... (*Встает.*) Мне страшно! Мне страшно, девочка! Это не ветер! Это Дух Божий проносится там! Слушай!

Закрывает глаза и, протянув руку к окнам, за которыми ветер, прислушивается. Открывает глаза и улыбается.

Это часовые так кричат, когда перекликаются: слушай! Мне кажется, что иногда я говорю что-то странное, Людмила Павловна, но у меня жар, кажется. Но почему жар и почему странное? – Я ясно вижу, как никогда.

Людмила Павловна. Но как же это! Вы даже не переоделись, на вас мокрое, и вы простудитесь! Сейчас я устрою.

Сторицын (*равнодушно*). Не надо простуживаться. Для этого надо переодеться.

Людмила Павловна. Я позову их. Модест Петрович!

Сторицын. Позови. Все это совершенно то, что надо. Сегодня я забыл свои папиросы и зашел в какую-то лавочку... так странно! Я уже десять лет не заходил в лавочку... так странно!

Входят все. Модест Петрович слегка навеселе – совсем немного.

Людмила Павловна. Модест Петрович, мы едем.

Модест Петрович. И великолепно! И как раз вовремя! И все есть и все будет! Прокопий, друг, пошли за извозчиками на Финляндский вокзал. А мы с Прокопием выпили на брудершафт, и теперь он бывший генерал. Прокопий, ты мне нравишься!

Тслсмахов. А ты мне нет. Геннадий!..

Людмила Павловна. Нет, погодите, Прокопий Евсеич, ему надо переодеться. Дайте белье и ваш сюртук, он совсем мокрый.

Телемахов. Слушаю-с. К сожалению, у меня только форменное. (*Вошедшему Геннадию.*) Геннадий! Господину профессору мой новый сюртук... ну? – который в шкапу. Валентин Николаевич, пройди, пожалуйста, в спальню, сейчас тебе дадут переодеться. Извините, княжна.

Сторицын (*с улыбкой смотревший на всех*). Это нужно?

Телемахов. Да. Иди, милый.

Сторицын. Хорошо. Володя, пойдем со мною. Какие вы все особенные и... странные! Пойдем переодеваться, Володя. Так нужно.

Володя. Пойдем, папахен.

Уходят в спальню.

Людмила Павловна. Прокопий Евсеич, я боюсь за него. У него, кажется, жар, он немного бредит.

Телемахов. Не знаю, не замечал! И если человека грызть целые сутки, раздирать на части и – чавкать! – то он будет заговариваться. Я сам заговариваюсь сегодня. *(Вышедшему из спальни Геннадию.)* Геннадий! Два извозчика на Финляндский вокзал, тридцать копеек. Если я только час буду видеть перед собой рыцарскую рожу господина Саввича, я – все слова забуду! И кончено! Дело не в том, что жар, а...

В прихожей звонок, все замирают.

Телемахов. Геннадий, – погоди. Володя, прошу в переднюю, дело есть. Геннадий, помоги Владимиру Валентиновичу. Княжна, прошу вас садиться. Модест – сядь.

Володя и Геннадий быстро проходят в переднюю. Дверь в спальню полуоткрыта. Голос Сторицына:
– Кто там?

Телемахов. Не важно, пустяки, сейчас все устроится. Два слова господину Саввичу. Прошу, Валентин

Николаевич! *(Плотно закрывает дверь в спальню.)*
Садитесь, княжна.

Деловито поворачивает выключатель одной из висячих ламп, и в комнате становится темнее. Слышно, как в прихожей гремит снимаемый засов. Вытянув шею и дергая себя за бородку, Телемахов прислушивается к происходящему в передней. Ясно слышен следующий диалог.

Саввич. Что это к вам не дозвонишься? Спишь, каналья! Профессор Сторицын у вас?.. Скажи, что за ним из дому приехали. Живо!.. Позвольте, позвольте, кто вам дает право, я вас не знаю. А, это ты, Володька?

Володя. Я.

Мгновение молчания.

Саввич. Ты ответишь! Я не позволю бить по лицу, маль...

Мгновение молчания.

А, ты еще! Позвольте, что это? Двое на одного. Да я...

Голос обрывается. Мгновение молчания и громкий звук задвигаемого засова. Два-три яростных звонка с площадки и тишина.

Телемахов *(с наслаждением прислушиваясь к звонкам и напевая, прохаживается по комнате).* Машенька гуляла во своем саду-ду-ду... *(Залпом выпи-*

вает стакан, нежно.) Ну как, Володя?

Володя. Ничего. Ушел. Но только я...

Некоторое время гневно сопя и фыркая, совершенно округлив глаза и как-то странно шаря руками по телу, кружится по комнате. Потирает правую руку.

Модест Петрович (*тихо*). Оставь, Володя, сядь! Сделал, ну и сядь. Какой ты, брат, однако, зверь!

Телемахов. Нет, отчего же? Геннадий!.. Геннадий – спасибо.

Геннадий. Рад стараться, ваше превосходительство.

Телемахов. Ступай. Нет, отчего же? (*Выпивает стакан.*) Машенька гуляла...

Людмила Павловна. А он? Он молчит. Прокопий Евсеич, он молчит?

Все на мгновение с некоторым страхом оборачиваются к спальне, где молчит Сторицын.

Телемахов (*стукнув и приоткрывая дверь*). Валентин, к тебе можно, или ты выйдешь сюда?

Молчание. *Телемахов заглядывает в дверь и сердито отходит. Людмила Павловна в беспокойстве смотрит на него. Телемахов показывает жестами, что Сторицын сидит, опустив голову на руки. Показав – уже от себя и яростно пожимает плечами.*

Людмила Павловна (*тихо*). Он слышал?

Телемахов. Не знаю. И знать не желаю! Володя, пройди к отцу.

Володя (*у двери*). Папахен, к тебе можно? А папахен?

Сторицын. Нет. Пошли ко мне Модеста.

Модест Петрович тихонько входит, оставляя дверь полуоткрытою.

Телемахов (*становясь в решительную позу, рядом с полуоткрытой дверью*). Позволь тебе заметить, Валентин Николаевич, что это я распорядился и вину беру – на себя! Я не хотел осквернить твоего слуха, но этот дом – мой, и я не могу позволить, чтобы господин Саввич безнаказанно разевал свою гнусную пасть. И кончено!

Володя. Папахен, а папахен, ты напрасно. Если ты даже этого понять не можешь, то я тоже уйду. Честное слово. Пусть и у меня не будет дома, не желаю я так, папахен. Пусти, говорю.

Сторицын. Войди.

Не оборачиваясь и опустив голову, как будто дверь очень низка, Володя боком входит. Дверь закрывается. Телемахов садится на свое кресло у стола, выпивает стакан вина и искоса через очки смотрит на дверь. Затем переводит взгляд на княжну.

Людмила Павловна. Что вы, Прокопий Евсеич?

Вы что-нибудь хотите сказать?

Телемахов. Дайте руку.

Берет протянутую руку, целует и, положив на стол, склоняется на нее лицом.

Людмила Павловна. Прокопий Евсеич, вы плачете? Не надо.

Телемахов (*поднимая голову и садясь обычно*). Пьян, оттого и плачу. Плачу, и кончено! И никто не смеет запретить мне плакать. И кончено. (*Грозит пальцем по направлению спальни.*) Пусть!.. и очень сожалею, скорблю душевно, что сам вот этой рукой... (*трясет кулаком почти перед самым лицом княжны*) не мог! И кончено... Княжна! Людмила Павловна. Что, Прокопий Евсеич?

Телемахов, молча и сам продолжая глядеть на княжну, показывает дверь, за которой Сторицын, и чертит указательным пальцем как бы круги.

Людмила Павловна (*со страхом*). Я не понимаю.

Телемахов (*наклонившись и продолжая чертит пальцем*). Скоро умрет. Сердце никуда. Скоро умрет.

Людмила Павловна. Этого не может быть!

Телемахов (*утвердительно кивнув головой*). Будет... Но что это?

На цыпочках, с выражением крайнего страха на лице и в походке, из спальни выходит Володя и оставивается, смотря назад.

Людмила Павловна. Что с ним?

Володя. Не знаю. Умирает, должно быть. Не знаю.

Почти повторяя движение Володи, но закрывая лицо руками, выходит Модест Петрович. Все со страхом смотрят на дверь. Широко раскрывая ее, выходит Сторицын, слепой к окружающему, страшный в своем выражении сосредоточенности и полной уже отрешенности от видимого. На нем короткий, не по росту, форменный сюртук Телемахова, ботинки грязны. Медленно, не оглядываясь, идет к двери.

Телемахов (трезвея). Куда ты?

Сторицын останавливается и мгновение смотрит назад, не видя.

Сторицын. Я иду! (Поднимает руку.) Слышишь?

В комнате мгновение полной тишины: слышнее яростные взвизги и глубокие вздохи ветра за окном, удары дождевых капель по стеклам. Сторицын поворачивается и идет с выражением той же сосредоточенности. Первые шаги тверды, но дальше силы изменяют – шатается – почти пробегает два шага и падает у самой двери. К нему подбегают.

Володя. Папахен! Папа! Папа!

Телемахов. Пусти. Подними голову, открой грудь. Не ревь, тихо.

Слушает, приложив голову к сердцу, затем от-

четливыми шагами выходит на середину комнаты и останавливается спиной к труп, решительно сдвинув ноги и яростно щипля бороду. Володя и Модест Петрович плачут.

Ложь-ложь-ложь! (Яростно кричит, грозя вверх кулаком.) Убийца?

Занавес